

Герман
ГЕССЕ

*Нарцисс
и Гольдмунд*



Герман Гессе Нарцисс и Гольдмунд

Текст предоставлен Институтом соитологии
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138909
Г.Гессе Нарцисс и Гольмунд: Азбука-Классика; Москва; 2003
ISBN 5-352-00006-0
Оригинал: HermanHesse, "Narziß und Goldmund"
Перевод:
Г. В. Барышникова

Аннотация

Роман выдающегося прозаика, поэта, философа, одного из классиков немецкой и мировой литературы Германа Гессе (1877–1962) – «Нарцисс и Гольдмунд» – написан в романтической традиции и представляет замысловатую картину жизни немецкого средневековья. Поиск своего «Я», философское осмысление мира, трагедия и любовь – все это читатель найдет на страницах этой замечательной книги.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	10
Глава третья	16
Глава четвертая	22
Глава пятая	29
Глава шестая	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Герман Гессе

Нарцисс и Гольдмунд

Глава первая

Перед круглой аркой входа в монастырь Мариабронн, покоящейся на двойных колоннах, прямо у дороги стоял каштан, одинокий сын юга, принесенный в давние времена на каком-то римском пилигримом, благородный каштан с мощным стволом; ласково склонялась его круглая крона над дорогой, во всю грудь дышала на ветру, весной, когда все вокруг уже зеленело, и даже монастырский орешник уже покрывался своей красноватой молодой листвой, приходилось еще долго ждать его листьев, потом ко времени самых коротких ночей он выбрасывал вверх из пучков листьев матовые, бело-зеленые стрелы своих необычных цветов, так призывно и удушливо-терпко пахнувших, а в октябре, когда уже собраны были фрукты и виноград, ронял на осеннем ветру из желтеющей кроны колючие плоды, не каждый год вызревавшие, из-за которых монастырские мальчишки затевали потасовки, а сублиор Грегор, выходец из Италии, жарил их в своей комнате на каминном огне. Необычно и ласково развернуло свою крону над входом в монастырь прекрасное дерево, нежный и слегка зябнувший гость из другого края, родственник тайным родством стройным песчаниковым двойным колонкам портала и каменным украшениям оконных арок, карнизов и пилястров, любимец итальянцев и латинян, на которого местные жители глазели, как на чужака.

Уже несколько поколений монастырских учеников прошло под чужеземным деревом; с грифельными досками под мышкой, болтая, смеясь, играя, споря, босиком или обутое, смотря по времени года, с цветком в губах, орехом меж зубов или снежком в руке. Приходили все новые, каждые несколько лет другие лица, в большинстве своем друг на друга похожие: белокурые и кудрявые. Некоторые оставались, становились послушниками, становились монахами, остригали волосы, носили рясу и веревку, читали книги, обучали мальчиков, старели, умирали. Других, по прошествии учебы, родители забирали домой, в рыцарские замки, в дома купцов и ремесленников, они уходили в мир и занимались своими делами и ремеслами, может быть, раз навещались в монастырь, возмужав, приводили маленьких сыновей в ученики к патерам, улыбаясь и глубокомысленно посмотрев какое-то время вверх на каштан, исчезали опять. В кельях и залах монастыря между круглыми тяжелыми арками окон и строгими двойными колоннами из красного камня жили, учили, штудировали, распоряжались, управляли: здесь из поколения в поколение занимались всякого рода искусствами и науками, духовными и мирскими, светлыми и темными. Писались и комментировались книги, измышлялись системы, собирались писания древних, рисовались миниатюры на рукописях, поддерживалась вера в народе, над верой народа посмеивались. Ученость и смиренность, простота и лукавство, евангельская мудрость и мудрость греков, белая и черная магия, всего понемногу процветало здесь, всему было место; место было как для уединения и покаяния, так и для общительности и беззаботности; перевес и преобладание того или иного зависели всякий раз от личности настоятеля и господствующего течения времени. Временами монастырь славился и посещался благодаря своим заклинателям бесов и знатокам демонов, временами благодаря своей замечательной музыке, временами благодаря какому-нибудь святому отцу, совершавшему исцеления и чудеса, временами благодаря своей щучьей ухе и паштетам из оленьей печени, каждому в свое время. И всегда среди множества монахов и учеников, ревностных в благочестии и равнодушных, постников и чревоугодников, всегда среди многих, что приходили сюда, жили и умирали, был тот или иной

единственный и особенный, один, которого любили все, или все боялись, один, казавшийся избранным, один, о котором еще долго говорили, когда современники его бывали забыты.

Вот и теперь в монастыре Мариабронн было двое единственных и особенных, старый и молодой. Среди многих братьев, наполнявших дортуары, церкви и классные комнаты, было двое, о которых знал каждый, на которых обращал внимание любой. То был настоятель Даниил, старший, и воспитанник Нарцисс, младший, который совсем недавно стал послушником, но благодаря своим особым дарованиям, против обыкновения, уже использовался в качестве учителя, особенно в греческом. Оба они, настоятель и послушник, снискали уважение в монастыре, за ними наблюдали, они вызывали любопытство, ими восхищались, и им завидовали, а тайно и порочили. Настоятеля любило большинство, у него не было врагов, он был полон доброты, полон простоты, полон смирения. Лишь ученые монастыря прибавляли к своей любви нечто от снисходительности; потому что настоятель Даниил, хотя, быть может, и святой, однако ученым не был. Ему была свойственна та простота, которая и есть мудрость: но его латынь была скромной, а по-гречески он вообще не знал.

Те немногие, что при случае слегка посмеивались над простотой настоятеля, были тем более очарованы Нарциссом, чудо-мальчиком, прекрасным юношей с изысканным греческим, рыцарски безупречной манерой держаться, спокойным проникновенным взглядом мыслителя и тонкими, красиво и строго очерченными губами. За то, что он великолепно владел греческим, его любили ученые. За то, что был столь благороден и изящен, любили почти все, многие были в него влюблены. За то, что он был слишком спокоен и сдержан и имел изысканные манеры, некоторые его недолюбливали.

Настоятель и послушник, каждый на свой лад, несли судьбу избранного, по-своему царили, по-своему страдали. Оба чувствовали близость и симпатию друг к другу более, чем ко всему остальному монастырскому люду; и все-таки они не искали сближения, все-таки ни один не мог довериться другому. Настоятель обходился с юношей с величайшим тщанием, крайне предупредительно, лелеял его как редкого, нежного, может быть, слишком рано созревшего, возможно, находящегося в опасности брата. Юноша принимал каждое приказание, каждый совет, каждую похвалу настоятеля с совершенным самообладанием, никогда не возражая, никогда не досадуя, и если суждение о нем настоятеля и было правильно, и единственным его пороком была гордыня, то он великолепно умел скрывать этот порок. Против него ничего нельзя было сказать, он был совершенством, он превосходил всех. Разве что, кроме ученых, немногие стали ему действительно друзьями, разве что его изысканность окружала его как остужающий воздух.

– Нарцисс, – сказал ему настоятель как-то после исповеди, – я, признаюсь, виноват, что строго судил о тебе. Я часто считал тебя высокомерным и, возможно, был в этом несправедлив к тебе. Ты совсем один, юный брат, ты одинок, у тебя есть поклонники, но нет друзей. Я хотел бы иметь повод иногда пожуричь тебя; но нет никакого повода. Я хотел, чтобы иногда ты был непослушным, как это легко случается с молодыми людьми твоего возраста. Ты никогда им не был. Я временами немного беспокоюсь за тебя, Нарцисс.

Юноша поднял свои темные глаза на старика.

– Я очень хотел бы, отец мой, не доставлять Вам беспокойства. Пусть я буду высокомерным, отец мой. Я прошу Вас, накажите меня за это. У меня самого иногда бывает желание наказать себя. Пошлите меня в скит, отец, или назначьте более низкую службу.

– Для того и другого ты еще слишком молод, дорогой брат, – сказал настоятель. – Кроме того, ты очень способен к языкам и размышлениям, сын мой, поручать тебе более низкую службу было бы расточительством этих божьих даров. Ведь ты, видимо, станешь учителем и ученым. Разве ты не хочешь этого сам?

– Простите, отец, я еще точно не знаю своих желаний. Я всегда буду испытывать радость от наук, как может быть иначе? Но я не думаю, что науки будут моим единственным

поприщем. Ведь судьбу и призвание человека не всегда определяют желания, а иное, предопределенное.

Настоятель выслушал и стал строгим. Однако на его старом лице появилась улыбка, когда он сказал: «Насколько я успел узнать людей, все мы склонны, особенно в юности, путать между собой провидение и наши желания. Но коль ты полагаешь, что заранее знаешь свое призвание, скажи мне что-нибудь об этом. К чему же ты чувствуешь себя призванным?»

Нарцисс полузакрыв свои темные глаза, так что они исчезли за длинными черными ресницами. Он молчал.

– Говори, сын мой, – попросил после долгого ожидания настоятель.

Тихим голосом с опущенными глазами Нарцисс начал говорить:

– Я, кажется, знаю, отец мой, что прежде всего призван к жизни в монастыре. Я стану, так мне кажется, монахом, стану священником, субприором и, может быть, настоятелем. Я думаю так не потому, что хочу этого. Я не желаю должностей. Но их на меня возложат.

Долго оба молчали.

– Почему ты уверен в этом? – спросил нерешительно старик. – Какое же это свойство, кроме учености, укрепляет в тебе эту веру?

– Это – свойство, – медленно сказал Нарцисс, – чувствовать характер и призвание людей, не только свои, но и других. Это свойство заставляет меня служить другим тем, что я властвую над ними. Не будь я рожден для жизни в монастыре, я, должно быть, стал бы судьей или государственным деятелем.

– Пусть так, – кивнул старик. – Проверял ли ты свою способность узнавать людей и их судьбы на ком-нибудь?

– Проверял.

– Готов ли ты назвать мне кого-нибудь?

– Готов.

– Хорошо. Поскольку мне не хотелось бы проникать в тайны наших братьев без их ведома, может быть, ты скажешь мне, что ты, по-твоему, знаешь обо мне, твоим настоятеле Данииле?

Нарцисс поднял веки и посмотрел настоятелю в глаза.

– Это ваше приказание, отец мой?

– Мое приказание.

– Мне трудно говорить, отец.

– И мне трудно, юный брат, принуждать тебя к этому. Я все-таки сделаю это. Говори.

Нарцисс опустил голову и заговорил шепотом:

– Я мало что знаю о вас, уважаемый отец. Я знаю, что вы слуга Господа, который охотнее пас бы коз или звонил в колокольчик где-нибудь в скиту и выслушивал исповеди крестьян, чем управлял большим монастырем. Я знаю, что вы особенно любите святую Богородицу и больше всего молитесь ей. Иногда вы просите о том, чтобы греческие и другие науки, которыми занимаются в монастыре, не внесли смятение и опасность в души, вверенные вам. Иногда просите, чтобы Вас не оставляло терпение по отношению к субприору Грегору. Иногда вы просите покойной кончины. И, я думаю, Вы будете услышаны и покойно отойдете.

Тихо стало в маленькой приемной настоятеля. Наконец старик заговорил.

– Ты одержимый, и у тебя видения, – сказал седой владыка ласково. – Даже благие и приятные видения могут быть обманчивы; не полагайся на них, как и я на них не полагаюсь. Не можешь ли ты увидеть, брат-одержимый, что я думаю об этом в душе?

– Я вижу, отец, что вы очень благосклонно думаете об этом. Вы думаете так: «Этот молодой ученик немного в опасности, у него видения, возможно, он слишком много предавался размышлениям. Я наложу на него епитимию, пожалуй, она ему не повредит. Но епитимию, которую я наложу на него, возьму и на себя». Вот что вы думаете теперь.

Настоятель поднялся. С улыбкой он подал знак к прощанию.

– Хорошо, – сказал он. – Не принимай свои видения слишком всерьез, юный брат. Господь требует от нас кое-что иное, а не видений. Положим, ты польстил старику, пообещав ему легкую смерть. Положим, старик охотно выслушал это обещание. А теперь довольно. Ты должен почитать молитвы Розария¹, завтра после утренней мессы ты должен помолиться с полным смирением, а не кое-как, и я сделаю то же самое. А теперь иди, Нарцисс, достаточно поговорили.

В другой раз настоятель Даниил должен был улаживать спор между младшим из обучающих патеров и Нарциссом, которые не могли прийти к согласию по одному месту учебной программы: Нарцисс с большим упорством настаивал на введении определенных изменений в обучении, умело подтверждая их убедительными доводами; патер Лоренц, однако, из какого-то чувства ревности не хотел согласиться на это, и за каждым новым обсуждением следовали дни недовольного молчания и обиды, пока Нарцисс из упрямства не завел разговор снова. В конце концов патер Лоренц сказал, несколько задетый: «Ну, Нарцисс, хватит спорить. Ты же знаешь, что решаю я, а не ты, мне ты не коллега, а помощник и должен подчиняться. Ну уж коль это дело для тебя так важно, я, хоть превосхожу тебя по должности, но не по знаниям и дарованиям, не хочу принимать решение сам, давай изложим его отцу настоятелю, и пусть он решает».

Так они и сделали, и настоятель Даниил терпеливо и ласково выслушал спор обоих ученых по вопросу обучения грамматике. После того как оба подробно изложили свое мнение и обосновали его, старик весело взглянул на них, покачал слегка седой головой и сказал: «Дорогие братья, вы ведь оба не считаете, что я разбираюсь в этих делах столь же хорошо, как и вы. Похвально со стороны Нарцисса, что он принимает дело обучения близко к сердцу и стремится улучшить его. Но если его старший другого мнения, Нарциссу следовало бы помолчать и подчиниться, да и все улучшения обучения не стоят того, чтобы из-за них нарушался порядок и послушание в этом доме. Я порицаю Нарцисса за то, что он не сумел уступить. А вам обоим, молодым ученым, я желаю, чтобы у вас никогда не было недостатка в руководителях, которые глупее вас; нет ничего лучше этого против гордыни». С этой добродушной шуткой он их отпустил. Но в последующие дни он отнюдь не забыл проследить, наладились ли добрые отношения между обоими учителями.

И вот случилось так, что в монастыре, который видал столь много лиц, приходивших и уходивших, появилось новое, и это новое лицо принадлежало не к тем незаметным и быстро забываемым. Это был юноша, который, с давних пор уже записанный отцом, как-то весенним днем прибыл в школу. Они, юноша и его отец, привязали лошадей у каштана и из портала им навстречу вышел привратник.

Мальчик посмотрел вверх на дерево, еще по-зимнему голое.

– Такое дерево, – сказал он, – я еще никогда не видел. Прекрасное, удивительное дерево! Мне очень хотелось бы знать, как оно называется.

Отец, пожилой человек с озабоченным и несколько замкнутым лицом, не обратил внимания на слова юноши. Привратник же, у которого мальчик сразу вызвал симпатию, ответил ему. Юноша любезно поблагодарил, подал ему руку и сказал: «Меня зовут Гольдмунд, я буду здесь учиться». Привратник приветливо улыбнулся ему и пошел впереди прибывших через портал и дальше вверх по широкой каменной лестнице, а Гольдмунд вошел в монастырь без робости с чувством, что встретился здесь уже с двумя существами, с которыми мог подружиться, – с деревом и привратником.

Прибывших принял сначала патер, управляющий школой, а к вечеру и сам настоятель. И там, и там отец, императорский чиновник, представил своего сына Гольдмунда, его самого пригласили какое-то время погостить в монастыре. Но он воспользовался гостеприимством всего на одну ночь, объяснив, что завтра должен отправиться обратно. В качестве подарка

монастырю он предложил одного из двух своих коней, и дар был принят. Беседа с духовными лицами проходила чинно и сдержанно; но и настоятель, и патер радостно посматривали на почтительно молчавшего Гольдмунда, красивый, нежный юноша сразу понравился им. На следующий день они без особого сожаления отпустили отца, а сына охотно оставили. Гольдмунд был представлен учителям и получил постель в дортуаре для учеников. Почтительно с грустным лицом попрощался он с отъезжавшим верхом отцом и смотрел ему вслед, пока тот не скрылся между амбаром и мельницей за узкой аркой ворот внешнего монастырского двора. Слеза повисла на его длинных светлых ресницах, когда он повернулся; но тут его уже встретил привратник, ласково похлопывая по плечу.

– Барин, – сказал он утешительно, – не печалься. Многие поначалу немного тоскуют по дому, по отцу, матери, братьям и сестрам. Но ты скоро увидишь: и здесь жить можно, и даже неплохо.

– Спасибо, брат привратник, – сказал юноша. – У меня нет ни братьев, ни сестер, ни матери, у меня есть только отец.

– Зато здесь ты найдешь товарищей, и ученость, и музыку, и новые игры, которых еще не знаешь, и то, и се, вот увидишь. А если понадобится кто-то, кто желает тебе добра, то приходи ко мне.

Гольдмунд улыбнулся ему. – О, я очень Вам благодарен. И если Вы хотите порадовать меня, покажите, пожалуйста, поскорее, где стоит наша лошадка, которую оставил здесь мой отец. Мне хотелось бы поздороваться с ней и посмотреть, хорошо ли ей живется.

Привратник не преминул тотчас отвести его в конюшню возле амбара. Там в теплом полумраке остро пахло лошадьми, навозом и ячменем, а в одном из стойл Гольдмунд нашел своего бурого коня, на котором приехал сюда. Он обнял животное, которое уже узнало его и потянулось навстречу, за шею, приник щекой к его широкому лбу с белым пятном, нежно погладил и прошептал на ухо: «Здравствуй, Блесс, мой дружок, мой славный, как тебе живется? Ты меня еще любишь? У тебя есть, что поесть? Ты тоже думаешь о доме? Блесс, коняшка, милый, как хорошо, что ты остался здесь, я буду часто приходить к тебе и присматривать за тобой». Он достал из-за обшлага кусок хлеба, который оставил от завтрака, и, покروшив, покормил животное. Потом попрощался и последовал за привратником во двор, широкий, как базарная площадь большого города, и частично заросший липами. У внутреннего входа он поблагодарил привратника и подал ему руку, но заметил, что уже не помнит дорогу в свою классную комнату, которую ему показали накануне, посмеялся и, покраснев, попросил привратника проводить его, что тот охотно сделал. Когда он вошел в классную, где на скамьях сидели двенадцать мальчиков и юношей, помощник учителя Нарцисс обернулся

– Я – Гольдмунд, – сказал он, – новый ученик.

Нарцисс сухо поздоровался, не улыбувшись, указал ему место на задней скамье и сразу же продолжил занятие.

Гольдмунд сел. Он удивился такому молодому учителю, всего лишь на несколько лет старше себя, удивился и очень обрадовался, заметив к тому же, что этот молодой учитель так красив, так благороден, так серьезен, при этом столь обаятелен и достоин любви. Привратник был мил с ним, настоятель встретил так приветливо, там в конюшне стоял Блесс, частичка родины, и вот теперь этот удивительно молодой учитель, серьезный как ученый и прекрасный как принц, а какой спокойный, строгий, деловой, властный голос! Он слушал с признательностью, еще не понимая, о чем шла речь. У него стало хорошо на душе. Он попал к добрым, милым людям, и сам готов был любить их и завоевать их дружбу. Проснувшись утром в постели, он чувствовал себя подавленным, да и усталым еще после долгого путешествия, а прощаясь с отцом, немного всплакнул. Но теперь было хорошо, он был доволен. Подолгу и все снова и снова смотрел он на молодого учителя, любовался его прямой строй-

ной фигурой, холодно сверкавшим взглядом, строгими, ясно и четко произносимыми слогами губами, захватывающим, неутомимым голосом.

Но когда урок кончился и ученики с шумом поднялись, Гольдмунд вздрогнул и заметил, несколько смущенный, что долгое время спал. И не он один заметил это, а и его соседи по скамье видели это и передали шепотом дальше. Едва молодой учитель покинул классную, товарищи начали дергать и толкать Гольдмунда со всех сторон.

– Выспался? – спросил один и осклабился.

– Достойный ученик! – издевался другой. – Из него выйдет замечательное светило церкви. Заснул, как сурок, на первом же уроке!

– Отнесите малыша в постель, – предложил кто-то, и его схватили за руки и за ноги и потащили под общий хохот.

Разбуженный таким образом Гольдмунд пришел в ярость; он колотил направо и налево, пытаясь освободиться, получал тумаки, и в конце концов его повалили, а кто-то все еще держал его за ногу. Он с силой вырвался от него, бросился на первого попавшегося и тотчас сцепился с ним в яростной схватке. Его противник был сильный малый, и все жадно следили за поединком. Когда же Гольдмунд не отступил, а нанес противнику несколько хороших ударов кулаком, среди товарищей у него уже появились друзья, прежде чем он узнал хотя бы одного из них по имени. Но вдруг все стремительно бросились в разные стороны, и едва они успели скрыться, как вошел патер Мартин, управляющий школой, и остановился перед мальчиком, который остался один. Он удивленно посмотрел на мальчика, голубые глаза которого на раскрасневшемся и несколько побитом лице выражали смущение.

– Да что это с тобой? – спросил он. – Ведь ты Гольдмунд, не так ли? Не обидели ли они тебя чем-нибудь, эти лодыри?

– О нет, – сказал мальчик, – я справился с ним:

– С кем это?

– Не знаю. Я еще никого не знаю. Со мной боролся кто-то один.

– Ах вот как? Начал он?

– Не знаю. Нет, кажется, я сам начал. Они меня дразнили, я и разозлился.

– Ну, хорошо же ты начинаешь, мой мальчик. Запомни: если ты еще раз затеешь драку здесь в классной, будешь наказан. А теперь приведи себя в порядок и ступай на ужин, марш!

Улыбаясь, смотрел он Гольдмунду вслед, как тот, пристыженный, убегал, стараясь на бегу расчесать пальцами взлохмаченные белокурые волосы.

Гольдмунд сам считал, что его первый поступок в этой монастырской жизни был очень дурен и глуп; с сознанием некоторой вины искал он товарищей и нашел их за ужином. Но его встретили с уважением и радушием, он рыцарски помирился со своим врагом и с этой минуты почувствовал себя благосклонно принятым в этом кругу.

Глава вторая

Между тем как со всеми он был в приятельских отношениях, настоящего друга, однако, он нашел не скоро; ни к одному из учеников он не чувствовал близости или хотя бы склонности. Они же в ловком драчуне, которого склонны были считать достойным уважения забиякой, с удивлением нашли весьма миролюбивого товарища, стремившегося, казалось, скорее к славе примерного ученика.

Два человека было в монастыре, к которым Гольдмунд чувствовал сердечную привязанность, которые ему нравились, занимали его мысли, вызывали у него восхищение, любовь и благоговение: настоятель Даниил и помощник учителя Нарцисс. Настоятеля он склонен был почитать за святого, его простодушие и доброта, его ясный заботливый взгляд, манера отдавать приказания и управлять со смирением служения, его добрые мягкие жесты, – все это неудержимо влекло его. Охотнее всего он стал бы личным слугой этого благочестивого старца, был бы всегда при нем, подчиняясь и прислуживая, покорно принес бы ему в жертву все свое мальчишеское стремление к преданности и самоотдаче, учась у него чистой и благородной, праведной жизни. Ведь Гольдмунд собирался не только окончить монастырскую школу, но по возможности навсегда остаться в монастыре и посвятить свою жизнь Богу; такова была его воля, таково было желание и требование его отца, и так было предопределено, видимо, самим Богом. Никто, казалось, не замечал этого в прекрасном, сияющем мальчике, и все-таки на нем лежала какая-то печать, бремя происхождения, тайное предопределение к искупительной жертве. Даже настоятель не видел этого, хотя отец Гольдмунда сделал ему несколько намеков и ясно выразил желание навсегда оставить сына здесь в монастыре. Какой-то тайный порок, казалось, тяготел над рождением Гольдмунда, что-то утаенное, казалось, требовало искупления. Но отец не очень-то понравился настоятелю, на его слова и все его несколько надменное поведение он ответил вежливой холодностью и не придал большого значения его намекам.

Другой же, пробудивший любовь Гольдмунда, был проникательнее и предвидел большее, но был сдержан. Нарцисс очень хорошо понял, что за прелестная диковинная птица залетела тогда к нему. Он, такой одинокий в своем благородстве, тотчас почувствовал в Гольдмунде родственную душу, хотя тот, казалось, был его противоположностью во всем. Если Нарцисс был темным и худым, то Гольдмунд светлым и цветущим. Нарцисс – мыслитель, и строгий аналитик, Гольдмунд – мечтатель и дитя. Но противоположности перекрывало общее: оба были благородны, оба были отмечены явными дарованиями по сравнению с другими и оба получили от судьбы особое предзнаменование.

Горячо сочувствовал Нарцисс этой юной душе, чей склад и судьбу он вскоре узнал. Пылко восхищался Гольдмунд своим прекрасным, необыкновенно умным учителем. Но Гольдмунд был робким; он не находил иного способа завоевать расположение Нарцисса, как до переутомления стараться быть внимательным и смышленным учеником. И не только робость сдерживала его. Удерживало также чувство, что Нарцисс опасен для него. Нельзя было иметь идеалом и образцом доброго, смиренного настоятеля и одновременно чересчур умного, ученого, высоко духовного Нарцисса. И все-таки всеми силами молодой души он стремился к обоим идеалам, несоединимым. Часто он страдал от этого. Иногда в первые месяцы учебы Гольдмунд чувствовал в душе такое смятение и потерянности, что испытывал сильное искушение сбежать из монастыря или на товарищах сорвать свой гаев и беды. Нередко он, добродушный, на какое-то легкое подтрунивание или дерзость товарищей совершенно неожиданно вспыхивал такой дикой злобой, что ему с невероятным трудом удавалось сдержаться, и он молча, с закрытыми глазами и смертельно бледный отворачивался. Тогда он разыскивал в конюшне Блесса, клал голову ему на шею, целовал его, горько плача.

И постепенно его страдание так возросло, что стало заметно. Щеки ввалились, взгляд потух, его всеми любимый смех слышался редко.

Он сам не знал, что с ним происходит. Он честно желал быть хорошим учеником, со временем быть принятым в послушники и потом стать благочестивым, смиренным братом патеров; ему казалось, что все его силы и способности устремлены к этим благочестивым, скромным целям, других стремлений он не знал. Как же странно и грустно было видеть, что эта простая и прекрасная цель столь трудно достижима. С каким унынием и не приятным удивлением замечал он порой за собой пред осудительные склонности и состояния: рассеянность и отвращение к учебе, мечтания и фантазии или сонливость во время занятий, нерасположение и протест против учителя латыни, раздражительность и гневное нетерпение по отношению к товарищам. А больше всего смущало то, что его любовь к Нарциссу так плохо уживалась с его любовью к настоятелю Даниилу. К тому же иногда в самой глубине души он, казалось, чувствовал уверенность, что и Нарцисс любит его, сочувствует ему и ждет его.

Намного больше, чем мальчик предполагал, мысли Нарцисса были заняты им. Он желал, чтобы этот красивый, светлый, милый юноша стал его другом, он угадывал в нем свою противоположность и дополнение себе, он охотно взял бы его под свою защиту, руководил бы им, просвещал, вел бы все выше и довел до расцвета. Но он сдерживался. Делал он это по многим соображениям, и почти все они были осознанными. Прежде всего его останавливало то отвращение, которое он испытывал к тем нередким учителям и монахам, что влюблялись в учеников или послушников. Достаточно часто он сам с неудовольствием ловил на себе жадные взгляды более старших мужчин, достаточно часто молча давал отпор их любезностям и ласкам. Теперь он лучше понимал их – и его манило полюбить красивого Гольдмунда, вызывать его прелестный смех, нежно гладить по белокурым волосам. Но он ни за что бы не сделал этого, никогда. Кроме того, в качестве помощника учителя, состоя в ранге учителя, но, не обладая его полномочиями и авторитетом, он привык быть особенно осторожным и бдительным. Он привык относиться к ученикам, лишь немногим моложе себя, так, как будто он был на двадцать лет старше, он привык строго запрещать себе любое предпочтение какого-либо ученика, по отношению же к неприятному для себя ученику принуждал себя к особой справедливости и заботе. Его служение было служением духу, этому была посвящена его строгая жизнь, и лишь втайне, в минуту наибольшей слабости он позволял себе наслаждаться высокомерием, всезнайством и умничаньем. Нет, как бы ни была соблазнительна дружба с Гольдмундом, она была опасна, и он не смел позволить ей касаться сути своей жизни. Суть же и смысл его жизни были в служении духу, слову, спокойно, обдуманно, бесстрастно поведет он своих учеников – и не только их – к высоким духовным целям.

Уже больше года учился Гольдмунд в монастыре Мариабронн, уже сотни раз играл он с товарищами под липами двора и под красивым каштаном: бегал наперегонки, играл в мяч, в разбойников, в снежки; теперь была весна, но Гольдмунд чувствовал себя усталым и слабым, у него часто болела голова, и он с трудом заставлял себя быть бодрим и внимательным во время занятий.

Однажды вечером с ним заговорил Адольф, тот самый ученик, первое знакомство с которым когда-то закончилось потасовкой и с которым он этой зимой начал изучать Эвклида. Произошло это после ужина в свободный час, когда разрешались игры в дортуарах, болтовня в классных, а также прогулки за внешним двором монастыря.

– Гольдмунд, – сказал он, увлекая того за собой вниз по лестнице, – я хочу тебе кое-что рассказать, нечто забавное. Правда, ты пай-мальчик и, конечно, хочешь стать епископом – дай сначала слово товарища, что не выдашь меня учителям.

Гольдмунд не задумываясь дал слово. Существовала честь монастыря, существовала и ученическая честь, и обе подчас вступали в противоречие, и он это знал, но, как везде,

неписанные законы сильнее писаных, и пока он был учеником, он никогда не нарушил бы законов и понятий ученической чести.

Что-то нашептывая, Адольф тащил его к порталу под деревья. Есть несколько смельчаков, рассказывал он, к которым относил и себя, перенявших обычаи прошлых поколений время от времени вспоминать, что они ведь не монахи, и на вечерок покидать монастырь, уходя в деревню. Это веселое приключение, от которого не откажется ни один порядочный человек, ночью же вернемся. «Но ведь ночью ворота закрыты», – бросил Гольдмунд.

Еще бы, конечно, закрыты, в этом-то и потеха. Сумеет, однако, вернуться незаметно потайным путем, не впервой. Гольдмунду припомнилось. Выражение «сходить в деревню» он уже слышал, под этим подразумевались ночные вылазки воспитанников для всякого рода тайных удовольствий и приключений, и это было запрещено монастырским уставом под страхом тяжкого наказания. Он испугался. Идти «в деревню» было грехом, запретом. Но он очень хорошо понимал, что именно поэтому среди «порядочных людей» считалось честью riskовать опасностью, а быть приглашенным участвовать в таком походе означало определенное отличие.

Больше всего ему хотелось сказать «нет», убежал обратно и лечь спать. Он так устал и чувствовал себя таким несчастным, после обеда у него все время болела голова. Но он немного стыдился Адольфа. Да и как знать, может быть, за монастырскими стенами произойдет какое-нибудь прекрасное новое событие, что-то, что заставит забыть головную боль, и тупость, и все несчастья. Это был выход в мир, правда тайный и запретный, не совсем похвальный, но все-таки освобождение, переживание. Он стоял в нерешительности, пока Адольф уговаривал его, и вдруг рассмеялся и согласился.

Незаметно скрылись они с Адольфом за липами в широком уже темном дворе, внешние ворота которого к этому часу уже были заперты. Приятель повел его к монастырской мельнице, откуда в сумерках при постоянном шуме колес легко было неслышно ускользнуть. Через окно попали на штабель влажных, скользких брусков, один из которых нужно было вытащить и положить через ручей для переправы. И вот они снаружи, на едва видной дороге, которая теряется в черном лесу. Все это волновало своей таинственностью и очень понравилось мальчику.

На опушке леса уже стоял приятель, Конрад, а после долгого ожидания сюда же подошел, тяжело ступая, еще один, большой Эберхард. Вчетвером юноши зашагали через лес, над ними с шумом поднимались ночные птицы, несколько звезд ясно и влажно сияло меж спокойных облаков. Конрад болтал и шутил, иногда смеялись и другие, но все-таки над ними витало жуткое и торжественное чувство ночи, и сердца их бились сильнее.

По ту сторону леса через какой-нибудь час они добрались до деревни. Там все, казалось, уже спало, бледно мерцали низкие остроконечные крыши с проступавшими темными ребрами перекрытий, нигде ни огонька. Адольф шел впереди, молча, крадучись, обошли они несколько домов, перелезли через забор, очутились в саду, прошли по мягкой земле грядок, спотыкаясь о ступени, остановились перед стеной дома. Адольф постучал в ставню, подождав, постучал еще раз, внутри послышался шорох, и вскоре появился свет, ставня открылась, и один за другим они очутились в кухне с черным дымоходом и земляным полом. На плите стояла маленькая масляная лампа, на тонком фитиле, мигая, горело слабое пламя. Стоявшая здесь девушка, худая прислуга из крестьянок, подала прибывшим руку, за ней из темноты вышла вторая, совсем дитя с длинными темными косами. Адольф принес гостинцы, полкаравая белого монастырского хлеба и что-то в бумажном кулке. Гольдмунд предположил, что это немного украденного ладана или свечного воска или чего-нибудь в этом роде. Девушка с косами вышла, без света пробралась за дверь, долго отсутствовала и вернулась с кувшином из серой глины с нарисованным голубым цветком, который протянула Конраду. Он отпил из него и передал дальше, все пили, это был крепкий яблочный сидр.

При слабом свете лампы они расселись, девушки на маленьких деревянных табуретах, ученики вокруг них на полу. Говорили шепотом, попивая сидр, Адольф и Конрад вели беседу. Время от времени кто-нибудь вставал и гладил худую по волосам и шее, шепча ей что-то на ухо, младшая оставалась неприкосновенной. По-видимому, думал Гольдмунд, старшая – служанка, а красивая младшая – дочь хозяев дома. Впрочем, все равно, его это совершенно не касается, потому что он никогда больше не придет сюда. То, что они тайно удрали и прошлись ночью по лесу, было прекрасно, это необычно, волнительно, таинственно и совсем не опасно. Правда, это запрещено, но нарушение запрета не очень обременительно для совести. А вот то, что происходит здесь, этот ночной визит к девушкам, было больше, чем просто запрет, так он чувствовал, это был грех. Возможно, для других и это было лишь небольшим отступлением, но не для него; для него, считающего себя предназначенным к монашеской жизни и аскезе, непозволительна никакая игра с девушками. Нет, он никогда больше не придет сюда. Но сердце его билось сильно и тоскливо в полумраке убогой кухни.

Его товарищи разыгрывали перед девушками героев, щеголяя латинскими выражениями, которые вставляли в разговор. Все трое, казалось, пользовались благосклонностью служанки, время от времени они приближались к ней со своими маленькими, неловкими ласками, самой нежной из которых был робкий поцелуй. Они, видимо, точно знали, что им здесь разрешалось. А поскольку вся беседа велась шепотом, выглядело все это довольно смешно, но Гольдмунд чувствовал иначе. Он сидел на земле, неподвижно затаившись, уставившись на язычок пламени, не говоря ни слова. Иногда жадным беглым взором он ловил какую-нибудь из нежностей, которыми обменивались другие. Он напряженно смотрел перед собой. Хотя больше всего ему хотелось взглянуть на младшую девушку с косами, но именно это он запрещал себе. И всякий раз, когда его воля ослабевала и взгляд, как бы заблудившись, останавливался на привлекательном девичьем лице, он неизменно встречал ее темные глаза, устремленные на его лицо, она как замороженная смотрела на него.

Прошел, по-видимому, час – никогда еще час жизни не казался Гольдмунду таким долгим – латинские выражения и нежности учеников были исчерпаны, стало тихо, и все сидели в смущении. Эберхард начал зевать. Тогда служанка напомнила, что пора уходить. Все поднялись, каждый подал служанке руку, Гольдмунд последним. Затем все подали руку младшей, Гольдмунд последним. Конрад первым вылез из окна, за ним последовали Эберхард и Адольф. Когда Гольдмунд тоже хотел вылезти, он почувствовал, что его удерживают за плечо. Он не смог остановиться, только очутившись снаружи на земле, он робко оглянулся. Из окна выглянула младшая с косами.

– Гольдмунд! – прошептала она.

Он остановился.

– Ты придешь еще как-нибудь? – спросила она. Ее нерешительный голос был как дуновение.

Гольдмунд покачал головой. Она протянула обе руки, взяла его голову, он почувствовал тепло маленьких рук на своих висках. Она далеко высунулась из окна, так что ее темные глаза оказались прямо перед его глазами.

– Приходи! – прошептала она, и ее рот коснулся его губ в детском поцелуе.

Он быстро побежал вслед за другими через палисадник, неуверенно наступая на грядки, вдыхая запах сырой земли и навоза, поранил руку о розовый куст, перелез через забор и пустился, догоняя других, прочь из деревни к лесу. «Никогда!» – приказывала его воля. «Завтра же!» – молило несчастное сердце.

Никто не повстречался ночным гулякам, беспрепятственно вернулись они в Мариабронн, миновали ручей, мельницу, липы и обходными путями по карнизам через разделенные колонками окна попали в монастырь и в спальню.

Наутро Эберхарда долго будили тумачами, так крепок был его сон. Все вовремя успели к ранней мессе, на завтрак и в аудиторию; но Гольдмунд выглядел плохо, так плохо, что патер Мартин спросил, не болен ли он. Адольф бросил на него предостерегающий взгляд, и тот сказал, что здоров. На греческом, однако, около полудня. Нарцисс не упускал его из вида. Он тоже заметил, что Гольдмунд болен, но промолчал и внимательно наблюдал за ним. В конце урока он подозвал его к себе. Чтобы не привлекать внимания учеников, он отправил его с поручением в библиотеку. И пришел туда же сам.

– Гольдмунд, – сказал он, – не могу ли я тебе помочь? Я вижу, тебе плохо. Может, ты болен. Ложись-ка в постель, получишь больничный суп и стакан вина. Тебе сегодня было не до греческого.

Долго ждал он ответа. Смущенный, взглянул на него бледный мальчик, опустил голову, поднял опять, губы вздрогнули, он хотел говорить, но не смог. Вдруг он опустился рядом, положив голову на пульт для чтения, между двумя маленькими головками ангелов из дуба, державших пульт, и разразился такими рыданиями, что Нарцисс почувствовал себя неловко и на какое-то время отвел взгляд, прежде чем подхватил и поднял плачущего.

– Ну, ну, – сказал он приветливее, хотя Гольдмунд едва ли слышал его слова, – ну и хорошо, дружок, поплачь, тебе станет легче. Вот так, садись, можешь ничего не говорить. Ты, я вижу, натерпелся, видимо, все утро старался держаться и не подавать виду, молодец. А теперь поплачь, это лучше всего. Нет? Уже все? Опять все в порядке? Ну и славно, тогда пойдем в больничную палату, и ложись в постель, сегодня же вечером тебе станет намного лучше. Пойдем же!

И он провел его в больничную палату в обход ученических комнат, указал на одну из двух пустых кроватей и, когда Гольдмунд начал послушно раздеваться, вышел, чтобы доложить настоятелю о его болезни. На кухне он попросил для него, как обещал, суп и стакан вина; оба эти благодеяния, принятые в монастыре, очень нравились большинству легких больных.

Лежа в больничной постели, Гольдмунд пытался оправиться от смутения. Час тому назад он, пожалуй, был бы в состоянии объяснить себе, что было причиной сегодняшней столь невыразимой усталости, что это было за смертельное перенапряжение души, опустошившее его голову и заставившее расплакаться. Это было насильственное, каждую минуту возобновляющееся и каждую минуту терпевшее неудачу стремление забыть вчерашний вечер – даже не вечер, не безрассудную минуту и милую вылазку из запертого монастыря, не прогулку по лесу, не скользкий мостик через мельничный ручей или перелезание через заборы, окна и ходы, но единственный момент у темного окна кухни, дыхание и слова девушки, прикосновение ее рук, поцелуй ее губ.

А теперь к этому прибавлялся еще новый страх, новое переживание. Нарцисс принял в нем участие. Нарцисс любил его, Нарцисс позаботился о нем – он, изысканный, благородный, умный, с тонким, слегка насмешливым ртом. А он, он распустился перед ним, стоял пристыженный и заикающийся и, наконец, разревелился! Вместо того, чтобы завоевать этого превосходящего всех во всем самым благородным оружием – греческим, философией, духовными подвигами и достойным стоицизмом, он жалко и ничтожно провалился! Никогда он себе этого не простит, никогда не сможет смотреть ему без стыда в глаза.

Однако слезы разрядили сильное напряжение, спокойное одиночество, хорошая постель подействовали благотворно, отчаяние наполовину потеряло свою силу. Через часок вошел прислуживающий брат, принес мучной суп, кусочек белого хлеба и небольшой бокал красного вина, который ученики обычно получали только по праздникам, Гольдмунд поел и выпил, съел полтарелки, отставил, принялся опять размышлять, но ничего не вышло; он опять пододвинул тарелку, съел еще несколько ложек. И когда немного спустя дверь тихо

отворилась и вошел Нарцисс, чтобы проведать больного, тот лежал и спал, и румянец опять появился на его щеках.

Долго смотрел на него Нарцисс, с любовью, с пытливым любопытством и немного с завистью. Он видел: Гольдмунд не был болен, завтра ему уже не нужно будет посылать вина. Но он знал, запрет снят, они будут друзьями. Пусть сегодня Гольдмунду понадобились его услуги. В другой раз, возможно, он сам окажется слабым и будет нуждаться в помощи и участии. И если это произойдет, от этого мальчика он их примет.

Глава третья

Странная это была дружба, что началась между Нарциссом и Гольдмундом; лишь немногим пришлась она по душе, а иногда могло показаться, что им самим от нее мало удовольствия. Нарциссу, мыслителю, поначалу приходилось особенно трудно. Для него все было духовно, даже любовь; ему не дано было бездумно отдаваться чувству. Он был в этой дружбе ведущей силой и долгое время оставался единственным, кто сознавал судьбу, глубину и смысл этой дружбы. Долгое время он оставался одинок в самый разгар любви, зная, что друг только тогда будет действительно принадлежать ему, когда он подведет его к пониманию. Искренне и пылко, легко и безотчетно отдавался Гольдмунд новой жизни; сознательно и ответственно принимал высокий жребий Нарцисс.

Для Гольдмунда это было, прежде всего, спасение и выздоровление. Его юная потребность в любви, только что властно разбуженная взглядом и поцелуем красивой девушки, тотчас же отступила в безнадежном страхе. Ибо в самой глубине души он чувствовал, что все его прежние мечты о жизни, все, во что он верил, все, к чему считал себя предназначенным и призванным, ставилось в основе своей под угрозу тем поцелуем в окне, взглядом тех темных глаз. Предназначенный отцом к монашеской жизни, всей волей принимая это предназначение, с юношеским пылом отдаваясь набожности и аскетически-героическому идеалу, он при первой же беглой встрече, при первом пробуждении чувств, при первом женском приветствии почувствовал, что здесь его неизбежный враг и демон, что в женщине для него таится опасность. И вот судьба посылает ему спасение, в самую трудную минуту является эта дружба, предоставляя его душевной потребности цветущий сад, его благоговению – новый алтарь. Здесь ему разрешалось любить, разрешалось без греха отдавать себя, дарить свое сердце достойному восхищения, старшему, умному другу, превратить, одухотворяя, опасное пламя чувств в благородный жертвенный огонь. Но в первую же весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданным, загадочным охлаждением, пугающей требовательностью. Ведь ему и в голову не приходило считать друга полной себе противоположностью. Ему казалось, что для того, чтобы из двоих сделать одно, сгладить различия и снять противоречия, нужна только любовь, только искренняя самоотверженность. Но как строг и тверд, умен и непреклонен был этот Нарцисс! Казалось, ему незнакомы и нежелательны невинная самоотдача, благодарное странствие вдвоем по стране дружбы. Казалось, он не ведает и не терпит путей без цели, мечтательных блужданий. Правда, когда Гольдмунд был болен, он проявил заботу о нем, правда, он был верным помощником и советчиком ему во всех учебных и ученых делах, объясняя трудные места в книгах, учил разбираться его в тонкостях грамматики, логики, теологии; но казалось, он никогда не был по-настоящему доволен другом, и согласен с ним, достаточно часто казалось даже, что он посмеивается над ним, не принимая всерьез, Гольдмунд, правда, чувствовал, что это не просто наставничество, не просто важничанье более старшего и более умелого, что за этим кроется что-то более глубокое, более важное. Понять же это более глубокое он был не в состоянии, и нередко дружба повергала его в печаль и растерянность.

В действительности Нарцисс прекрасно знал, что представлял собой его друг, он не был ослеплен ни его цветущей красотой, ни его естественной силой жизни и скрытой полнотой чувств. И он ни в коей мере не был наставником, который хотел питать пылкую юную душу греческим, отвечать на невинную любовь логикой. Слишком сильно любил он белокурого юношу, а для него это было опасно, потому что любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не смел влюбиться, не смел довольствоваться приятным созерцанием этих красивых глаз, близостью этого цветущего светлого белокурого создания, не смел позволить этой любви хотя бы на мгновение задержаться на уровне чувственного. Потому

что если Гольдмунд считал себя предназначенным быть монахом и аскетом и всю жизнь стремиться к святости – Нарцисс действительно был предназначен для такой жизни. Ему была позволена любовь только в единственной, высшей форме. В предназначение же Гольдмунда к жизни аскета Нарцисс не верил. Яснее, чем кто-либо другой, он умел читать в душах людей, а тут, когда он любил, он читал с особой ясностью. Он видел сущность Гольдмунда, которую глубоко понимал, несмотря на противоположность. Он видел эту сущность, покрытую твердым панцирем фантазий, ошибок воспитания, слов отца, и давно понял тайну этой молодой жизни. Его задача была ему ясна, раскрыть эту тайну самому носителю, освободить его от панциря, вернуть его собственной природе. Это будет нелегко, и самое трудное в том, что из-за этого, он, возможно, потеряет друга.

Бесконечно медленно приближался он к цели. Месяцы прошли, прежде чем стало возможно первое наступление, серьезный разговор между обоими. Так далеки были они друг от друга, несмотря на всю дружбу, так велико было напряжение меж ними. Зрячий и слепой, так и шли они рядом, то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, было для него лишь облегчением.

Первую попытку Нарцисс сделал, постаравшись разузнать о том переживании, которое подтолкнуло к нему в трудную минуту потрясенного мальчика. Разузнать это оказалось легче, чем он предполагал. Давно уже чувствовал Гольдмунд потребность исповедоваться в переживаниях той ночи; однако никому, кроме настоятеля, он не доверял вполне, а настоятель не был его духовником. Когда же Нарцисс как-то в подходящий момент напомнил другу о начале их союза и осторожно коснулся тайны, он без обиняков сказал: «Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь выслушивать исповеди, я охотно освободился бы от того потрясения, исповедавшись и исполнив наказание. Но своему духовнику я не могу этого рассказать».

Осторожно, не без хитрости продвигался Нарцисс дальше по найденному следу. «Помнишь, – подсказал он, – то утро, когда ты вроде бы заболел; ты не забыл его, ведь тогда мы стали с тобой друзьями. Я часто думал о нем. Может быть, ты и не заметил, но я чувствовал себя совершенно беспомощным».

– Ты беспомощным? – воскликнул друг недоверчиво. – Но ведь беспомощным был я! Ведь это я стоял, не в состоянии вымолвить ни слова, и в конце концов расплакался как ребенок! Фу, до сих пор стыдно; я думал, что никогда больше не смогу смотреть тебе в глаза. Ты видел меня таким ничтожно слабым!

Нарцисс продолжал нащупывать дальше.

– Я понимаю, – сказал он, – что тебе было неприятно. Такой крепкий и смелый молодец, как ты, и вдруг плачет перед чужим, да еще учителем, тебе это действительно не пристало. Ну, тогда-то я счел тебя больным. А уж если тебя бьет лихорадка, то сам Аристотель поведет себя странно. Но потом оказалось, что ты вовсе не болен! Не было никакой лихорадки! И поэтому – то ты и стыдишься. Никто ведь не стыдится, что схватил лихорадку, не так ли? Ты стыдишься, потому что не смог противиться чему-то другому, что-то другое потрясло тебя. Произошло что-нибудь особенное?

Гольдмунд немного поколебался, затем медленно произнес:

– Да, произошло нечто особенное. Позволь считать тебя моим духовником, нужно же когда-то об этом сказать.

С опущенной головой он рассказал другу историю той ночи.

На это Нарцисс, улыбаясь, сказал:

– Ну, конечно, ходить в деревню запрещено. Но ведь многое из запрещенного можно делать и посмеиваться над этим, или же исповедоваться и считать дело решенным, не касаясь его больше. Почему бы тебе и не совершить эту маленькую глупость, как это делает чуть ли не каждый ученик? Разве это так уж плохо?

Не сдерживаясь, Гольдмунд гневно разразился:

– Ты говоришь действительно как школьный учитель! Наперед точно знаешь, о чем речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы разок нарушить правила и принять участие в проделке, хотя это, пожалуй, и нельзя считать достойной подготовкой к монашеской жизни.

– Постой! – воскликнул Нарцисс резко. – Разве ты не знаешь друг, что для многих благочестивых отцов именно такая подготовка была необходима? Хотя самый короткий путь к святой жизни – жизнь пустытника.

– Ах, оставь! – возразил Гольдмунд. – Я хотел сказать: не легкое непослушание тяготило мою совесть. Это было нечто другое. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать! Чувство, что если я поддаюсь этому соблазну, если только протяну руку, чтобы коснуться девушки, я уже никогда больше не смогу вернуться назад, что грех как адская бездна поглотит меня и никогда не отпустит. Что с этим кончатся все прекрасные мечты, все добродетели, вся любовь к Богу и добру.

Нарцисс кивнул в глубокой задумчивости.

– Любовь к Богу, – сказал он медленно, подыскивая слова, – не всегда едина с любовью к добру. Ах, если бы это было так просто! Что хорошо, мы знаем из заповедей. Но Бог не только в заповедях, пойми, они лишь малая часть Его. Ты можешь исполнять заповеди и быть далеко от Бога.

– Неужели ты меня не понимаешь? – пожаловался Гольдмунд.

– Конечно, я понимаю тебя. Женщина, пол связываются у тебя с понятиями мира и греха. На все другие грехи, как тебе кажется, ты или неспособен или, если даже совершишь их, они не будут настолько угнетать тебя, в них можно исповедаться и освободиться. Только от одного этого нельзя.

– Правильно, именно так я чувствую.

– Как видишь, я тебя понимаю. Да ты не так уж и не прав, по-видимому, история о Еве и змие совсем не забавная сказка. И все-таки ты не прав дорогой. Ты был бы прав, если бы был настоятелем Даниилом или твоим крестным, Святым Хризостомусом, если бы ты был епископом или священником или даже всего лишь простым монахом. Но ведь ты не являешься ни одним из них. Ты ученик, и если даже желаешь навсегда остаться в монастыре или это желает за тебя отец, то ведь обет ты еще не дал, посвящения не получил. И если сегодня или завтра тебя совратит красивая девушка, и ты поддашься искушению, то не нарушишь никакой клятвы, никакого обета.

– Никакого писаного обета! – воскликнул Гольдмунд в большом волнении. – Но неписанный, самый святой, который ношу в себе. Неужели ты не видишь – то, что годится для многих других, не годится для меня? Ведь ты сам тоже еще не получил посвящения, не дал обета, но ведь ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Ты не таков? Ты совсем не тот, за кого я тебя принимаю? Разве ты не дал себе клятву, хотя и не в словах и не перед вышестоящим, а в сердце, и разве не чувствуешь себя из-за нее навеки обязанным? Разве ты не похож на меня?

– Нет, Гольдмунд, я не похож на тебя, не такой, как ты думаешь. Правда, я принял молчаливый обет, в этом ты прав. Но я совершенно не похож на тебя. Я скажу тебе сегодня кое-что, а ты подумай. Вот что я скажу тебе: наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня.

Гольдмунд стоял пораженный; Нарцисс говорил с таким видом и таким тоном, которому нельзя было возражать. Но почему Нарцисс говорил такие слова? Почему молчаливый обет Нарцисса был более свят, чем его? Принимал ли он его вообще всерьез, не считал ли всего лишь ребенком? Начинались новые замешательства и трудности этой странной дружбы.

Нарцисс больше не сомневался в природе тайны Гольдмунда. За этим стояла Ева, праматерь. Но как же могло получиться, что в таком красивом, здоровом, таком цветущем юноше пробуждающийся пол встретил столь ожесточенную вражду? Должно быть, тут действовал демон, тайный враг, которому удалось разъединить изнутри этого человека и раздвоить его изначальные влечения. Итак, демона нужно найти, сделать видимым и изгнать, тогда он будет побежден.

Между тем товарищи все больше и больше избегали Гольдмунда и оставляли его, скорее они чувствовали, что он оставлял их и в какой-то мере изменял им. Никому не нравилась его дружба с Нарциссом. Злые ославили ее противоестественной, именно те, кто сами были влюблены в обоих юношей. Но и другие, убежденные, что здесь нет ничего порочного, качали головами. Никто не желал, чтобы эти двое были вместе, этот союз, казалось, отделял их, как высокомерных аристократов, от остальных, бывших для них недостаточно хорошими; это было не по-товарищески, это было не по-монастырски, это было не по-христиански.

Кое-что об обоих доходило до слуха настоятеля Даниила, толки, жалобы, сплетни. Много юношеских дружб повидал он более чем за сорок лет монастырской жизни, они входили в картину жизни монастыря, были милым дополнением, иногда забавой, иногда опасностью. Он держался в стороне, зорко следя, но не вмешиваясь. Дружба такой силы и исключительности была редкостью, без сомнения, она была небезопасной; но так как он ни секунды не сомневался в ее чистоте, то предоставил делу идти своим чередом. Если бы Нарцисс не был на особом положении среди учеников и учителей, настоятель не задумываясь отдал бы распоряжение разделить их. Нехорошо, что Гольдмунд сторонится товарищей и поддерживает близкие отношения со старшим, да еще учителем. Но можно ли мешать Нарциссу, необыкновенному, высокоодаренному, которого все учителя считали не только равным себе духовно, но даже превосходящим их в выбранном деле, и лишить его деятельности учителя? Если бы Нарцисс перестал оправдывать себя в качестве учителя, если бы его дружба привела к небрежности или несправедливости, он сразу же отстранил бы его. Однако ничто не свидетельствовало против него, ничего не было, кроме кривотолков, ничего, кроме ревнивого недоверия других. Помимо того, настоятель знал об особом даре Нарцисса, о его удивительно проникновенном, возможно, несколько самонадеянном знании людей. Он не придавал особого значения этому дару, другие способности Нарцисса больше радовали его; но он не сомневался, что Нарцисс чувствовал особенность ученика Гольдмунда и знал его куда лучше, чем он или кто-либо другой. Он сам, настоятель, не замечал в Гольдмунде, помимо его подкупающей прелести, ничего, кроме явно преждевременного, даже несколько не по годам развитого усердия, с которым он уже теперь, будучи лишь учеником и гостем, кажется, чувствует себя принадлежащим монастырю и уже почти братом. Что Нарцисс будет поощрять и подогревать это трогательное, но незрелое усердие, не страшно. Беспокоиться можно скорее за то, что друг заразит его определенным духовным сомнением и ученым высокомерием; но для Гольдмунда, именно для него, опасность казалась не столь велика; в этом смысле можно, пожалуй, ничего не предпринимать. Когда он думал о том, насколько проще, покойнее и удобнее быть настоятелем у заурядных людей, то одновременно вздыхал и улыбался. Нет, он не хотел заражаться недоверием, не хотел быть неблагодарным, что ему были вверены два исключительных человека.

Нарцисс много думал о своем друге. Его особая способность видеть и распознавать сущность и предназначение человека помогла ему разобраться в Гольдмунде. Яркая живость этого юноши явно свидетельствовала о том, что он был отмечен всеми знаками сильного, богато одаренного чувствами человека глубокой души, возможно, художника, во всяком случае, человека огромной силы любви, предназначение и счастье которого состояло в том, чтобы воспламеняться чувством и отдаваться ему. Почему же этот человек любви, чело-

век тонких и богатых чувств, который так глубоко наслаждался ароматом цветов, утренним солнцем, любил своего коня, восхищался полетом птиц, музыкой, почему он был одержим идеей стать духовным лицом и аскетом? Нарцисс много размышлял об этом. Он знал, что отец Гольдмунда поддерживал эту одержимость. А не мог ли он ее нарочно вызвать? Какими чарами околдовал он сына, что тот поверил в такое предназначение и долг? Что за человек этот отец?

Хотя он намеренно часто заводил о нем разговор, и Гольдмунд немало рассказывал о нем, Нарцисс все-таки не мог представить себе этого отца, не мог увидеть его. Разве это не странно, не подозрительно? Когда Гольдмунд говорил о форели, которую ловил мальчиком, когда описывал бабочку, подражал крику птицы, рассказывал о товарище, о собаке или нищем, то возникали картины, что-то виделось. Когда же он говорил о своем отце, не виделось ничего. Нет, если бы этот отец был действительно таким важным, сильным, влиятельным лицом в жизни Гольдмунда, он иначе описывал бы его! Нарцисс был невысокого мнения об этом отце, он не нравился ему; он даже подчас сомневался, а был ли он действительно отцом Гольдмунда? Он казался каким-то пустым идолом. Но откуда же у него эта власть? Как же он сумел наполнить душу Гольдмунда мечтаниями, по сути столь чуждыми его душе?

И Гольдмунд много размышлял. Как ни глубоко чувствовал он сердечную любовь своего друга, у него все время было тягостное чувство, что тот принимает его недостаточно всерьез и обращается с ним немного как с ребенком. А к чему это друг постоянно дает ему понять, что он не такой, как он?

Между тем эти размышления не заполняли дни Гольдмунда целиком. Долго размышлять он вообще не любил. Было много других занятий в течение долгого дня. Он часто пропадал у брата привратника, с которым был в очень хороших отношениях. Хитростью и уговорами он всегда добивался разрешения часок– другой поскакать на Блессе; его очень полюбили и другие, жившие при монастыре, у мельника, к примеру; частенько с его работником они подстерегали выдру или пекли лепешки из тонкой прелатской муки, которую Гольдмунд из всех сортов мог определить с закрытыми глазами, только по запаху. Хотя он и много времени проводил с Нарциссом, оставалось все-таки немало часов, в которые он предавался своим давним привычкам и радостям. Церковная служба тоже была для него по большей части радостью; он охотно пел в ученическом хоре, любил читать молитвы по четкам перед любимым алтарем, слушал прекрасную, торжественную латынь мессы, смотрел сквозь клубы ладана на сверкающую золотом утварь и убранство, на спокойные, почтенные фигуры святых, стоящих на колоннах, евангелистов с животными, Иакова в шляпе и с сумкой паломника.

Эти формы влекли его, каменные и деревянные эти фигуры воображались ему таинственным образом связанными с его личностью, чем-то вроде бессмертных всезнающих крестных, заступников и проводников в его жизни. Точно так же чувствовал он любовь и тайную дивную связь с колоннами и капителями окон и дверей, орнаментами алтарей, с этими прекрасно профилированными опорами и венками, с этими цветами и бурно разросшимися листьями, выступавшими из камня колонн, так выразительно обрамляя их. Ему казалось драгоценной, сокровенной тайной, что, кроме природы, ее растений и животных, была еще эта вторая, немая, созданная людьми природа, эти люди, животные и растения из камня и дерева. Нередко он проводил время, срисовывая эти фигуры, головы животных и пучки листьев, а иногда пытаясь рисовать и настоящие цветы, лошадей, лица людей.

И еще он очень любил церковное пение, особенно песнопения деве Марии. Он любил четкий строгий ход этих песнопений, их постоянно повторяющиеся мольбы и восхваления. Он молитвенно следовал их почтительному смыслу или же, забывая смысл, лишь любовался торжественными размерами этих стихов, наполняясь ими, растянутыми глубокими звуками,

полнозвучными гласными, благочестивыми повторами. В глубине сердца он любил не ученость, не грамматику и логику, хотя в них была красота, а мир образов и звуков литургии.

Все снова и снова он ненадолго прерывал также возникшее между ним и учениками отчуждение. Ему было неприятно и скучно подолгу чувствовать себя отверженным, окруженным холодностью; он то смешил ворчливого соседа по парте, то заставлял болтать молчаливого соседа в дортуаре, быстро добивался своего и отвоевывал на свою сторону несколько глаз, несколько лиц, не сколько сердец. Два раза из-за таких сближений, совершенно того не желая, он был приглашен «пойти в деревню». Тут он испугался и быстро отступил. Нет, в деревню он больше не ходил, и ему удалось забыть девушку с косами, никогда не вспоминать о ней или почти никогда.

Глава четвертая

Долго оставались напрасными попытки Нарцисса раскрыть тайну Гольдмунда. Долго казались тщетными его старания пробудить его, научить языку, на котором можно было бы сообщить тайну. Из того, что друг рассказывал ему о своем происхождении и родине, не получалось картины. Был смутный, бесформенный, но почитаемый отец, да легенда о давно пропавшей или погибшей матери, от которой осталось лишь смутное воспоминание. Постепенно Нарцисс, умело читавший в душах, понял, что его друг относится к людям, для которых утрачена часть их жизни, которые под давлением какой-то необходимости или колдовства вынуждены были забыть часть своего прошлого. Он понял, что просто расспросы и поучения здесь бесполезны, он видел также, что чересчур полагался на силу рассудка и много говорил понапрасну.

Но не напрасна была любовь, связывавшая его с другом, и привычка много бывать вместе. Несмотря на глубокое различие своих натур, оба многому научились друг у друга; между ними наряду с языком рассудка постепенно возник язык души и знаков, подобно тому как между двумя поселками, помимо дороги, по которой ездят кареты и скачут рыцари, возникает много забавных, обходных, тайных дорожек; дорожка для детей, тропа влюбленных, едва заметные ходы собак и кошек. Постепенно одухотворенная сила воображения Гольдмунда какими-то магическими путями проникла в мысли и язык друга, и он научился у Гольдмунда понимать и сочувствовать без слов. Медленно вызревали в свете любви новые связи от души к душе, лишь потом приходили слова. Так однажды в один свободный от занятий день в библиотеке неожиданно для обоих меж друзьями состоялся разговор – разговор, который коснулся самой сути их дружбы и многое осветил новым светом.

Они говорили об астрологии, которой не занимались в монастыре, и она была запрещена. Нарцисс сказал, что астрология – это попытка вмести порядок в систему во все многообразие характеров, судеб и предопределении людей. Тут Гольдмунд вставил: «Ты постоянно говоришь о различиях – постепенно я понял, что это твоя самая главная особенность. Когда ты говоришь о большой разнице между тобой и мной, например, то мне кажется, что она состоит не в чем ином, как в твоей странной одержимости находить различия!»

Нарцисс: «Правильно, ты попал в точку. В самом деле: для тебя различия не очень важны, мне же они кажутся единственно» важными. Я по сути своей ученый, мое предназначение – наука. А наука – цитирую тебя – действительно не что иное как «одержимость находить различия!» Лучше нельзя определить ее суть. Для нас, людей науки, нет ничего важнее как устанавливать различия, наука называется искусством различения. Например, найти в человеке признаки, отличающие его от других, значит познать его».

Гольдмунд: «Ну, да. На одном крестьянские башмаки, он – крестьянин, на другом корона, он – король. Это, конечно, различия. Но они видны и детям, без всякой науки».

Нарцисс: «Но если крестьянин и король одеты одинаково, ребенок уже не различит их».

Гольдмунд: «Да и наука тоже».

Нарцисс: «А может быть, все-таки различит. Она, правда, не умнее ребенка, что следует признать, но она терпеливее, она замечает не только самые общие признаки».

Гольдмунд: «Любой умный ребенок делает то же самое. Он узнает короля по взору или манере держаться. А говоря короче, вы, ученые, высокомерны, вы всегда считаете нас, других, глупее. Можно без всякой науки быть очень умным».

Нарцисс: «Меня радует, что ты начинаешь это понимать. А скоро ты поймешь также, что я не имею в виду ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю: ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я говорю только: ты – другой».

Гольдмунд: «Это нетрудно понять. Но ты говоришь не только о различиях признаков, ты часто говоришь о различиях судьбы, предназначения. Почему, например, у тебя должно быть иное предназначение, чем у меня. Ты, как и я, христианин, ты, как и я, решил жить в монастыре, ты, как и я, сын нашего доброго Отца на небесах. У нас одна и та же цель: вечное блаженство. У нас одно и то же предназначение: возвращение к Богу».

Нарцисс: «Очень хорошо. По учебнику догматики, один человек и впрямь точно такой же, как другой, а в жизни нет. Мне кажется, любимый ученик Спасителя, на чьей груди Он отдыхал, и другой ученик, который Его предал, имели, пожалуй, не одно и то же предназначение».

Гольдмунд: «Ты просто софист, Нарцисс! Таким путем мы не станем ближе друг другу».

Нарцисс: «Мы никаким путем не станем ближе друг другу».

Гольдмунд: «Не говори так!».

Нарцисс: «Я говорю серьезно. Наша задача состоит не в том, чтобы сближаться друг с другом, как нельзя сближать солнце и луну, море и сушу. Наша цель состоит не в том, чтобы переходить друг в друга, но узнать друг друга и видеть и уважать в другом то, что он есть: противоположность другого и дополнение». Пораженный Гольдмунд опустил голову, лицо его стало печальным.

Наконец он сказал: «Поэтому ты так часто не принимаешь мои мысли всерьез?»

Нарцисс помедлил немного с ответом. Затем сказал ясным, твердым голосом: «Поэтому. Ты должен приучить себя, милый Гольдмунд, к тому, что всерьез я принимаю только тебя самого. Верь мне, я принимаю всерьез каждый звук твоего голоса, каждый твой жест, каждую твою улыбку. А твои мысли, к ним я отношусь менее серьезно. Я принимаю всерьез в тебе то, что считаю существенным и неизбежным. Почему ты придаешь такое большое значение именно своим мыслям, когда у тебя столько других дарований?»

Гольдмунд горько улыбнулся: «Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!»

Нарцисс оставался непреклонным: «Некоторые твои мысли я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок совсем не глупее ученого. Но если ребенок будет рассуждать о науке, ученый ведь не примет это всерьез».

Гольдмунд горячо возразил: «Да даже если мы говорим не о науке, ты подсмеиваешься надо мной! У тебя, например, всегда получается так, что моя набожность, мои старания продвигаться в учебе, мое желание быть монахом всего лишь ребячество!»

Нарцисс серьезно посмотрел на него: «Я принимаю тебя всерьез, когда ты Гольдмунд. А ты не всегда Гольдмунд. Мне же хочется, чтобы ты целиком и полностью стал Гольдмундом. Ты – не ученый, ты – не монах, ученым или монахом можно сделаться и при незначительной натуре. Ты думаешь, что слишком мало учен, недостаточно силен в логике или не очень набожен для меня. О нет, но ты слишком мало являешься самим собой, по-моему».

Хотя после этого разговора Гольдмунд, озадаченный и даже уязвленный, и замкнулся в себе, уже через несколько дней он сам почувствовал потребность продолжить его. На этот раз Нарциссу удалось так представить ему различия их натур, что он принял их более благосклонно.

Нарцисс говорил мягко, чувствуя, что сегодня Гольдмунд более открыто и охотно принимал его слова, что у него есть власть над ним. Соблазнившись успехом, он сказал больше, чем намеревался, увлеченный собственными словами.

«Видишь ли, – сказал он, – я только в одном превосхожу тебя: я бодрствую, тогда как ты бодрствуешь наполовину, а иногда и совсем спишь. Бодрствующим я называю того, кто понимает и осознает себя, свои самые глубокие внерассудочные силы, влечения и слабости и умеет с ними считаться. То, что ты этому учишься, является для тебя смыслом встречи со мной. У тебя, Гольдмунд, дух и природа, сознание и грезы очень далеки друг от друга. Ты

забыл свое детство, из глубины твоей души оно пробивается к тебе. Оно будет заставлять тебя страдать так долго, пока ты не услышишь его. Ну да хватит об этом! В бодрствовании, как я сказал, я сильнее тебя, здесь я превосхожу тебя и могу поэтому быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня – во всяком случае, ты будешь таким, когда найдешь сам себя».

Гольдмунд с удивлением слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул как пораженный стрелой, хотя Нарцисс не заметил этого, так как по своему обыкновению говорил с закрытыми глазами или смотря перед собой, как будто так лучше подбирал слова. Он не видел, как лицо Гольдмунда передернулось и начало бледнеть.

– Превосхожу... я тебя! – заикаясь, произнес Гольдмунд, только чтобы хоть что-то сказать, но весь как бы оцепенел.

– Конечно, – продолжал Нарцисс, – природы, подобные твоей, с сильными и нежными чувствами, одухотворенные мечтатели, поэты, любящие – почти всегда превосходят нас других, нас, людей духа. Ваше происхождение материнское. Вы живете в полноте, вам дана сила любви и переживания. Мы, люди духа, хотя часто как будто и руководим и управляем вами, не живем в полноте, мы живем сухо. Вам принадлежит богатство жизни, сок плодов, сад любви, прекрасная страна искусства. Ваша родина – земля, наша – идея. Ваша опасность – потонуть в чувственном мире, наша – задохнуться в безвоздушном пространстве. Ты – художник, я – мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрствую в пустыне. Мне светит солнце, тебе – луна и звезды, твои мечты о девушках, мои – о мальчиках...

С широко открытыми глазами слушал Гольдмунд, как говорил Нарцисс, упоенный собственной речью. Некоторые его слова вонзались в него подобно мечам; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, и когда Нарцисс это заметил и испуганно замолчал, тот, совершенно бледный, угасшим голосом проговорил:

– Однажды случилось, что я показал тебе свою слабость и плакал – ты помнишь. Этого больше никогда не случится, я никогда себе этого не прощу – но и тебе тоже! А теперь быстро уходи и оставь меня одного, ты сказал мне ужасные слова.

Нарцисс был очень смущен. Слова увлекли его, у него было чувство, что он говорил лучше, чем когда-либо. Теперь он в замешательстве видел, что какие-то его слова глубоко потрясли друга, в чем-то задели его за живое. Ему было трудно оставить друга одного в этот момент, он помедлил секунду, но нахмуренный лоб Гольдмунда заставил его поспешить, и в смятении он побежал прочь, чтобы оставить друга одного, в чем тот нуждался.

На этот раз перенапряжение в душе Гольдмунда разрешилось не слезами. С чувством глубокой и неизлечимой раны, как будто друг неожиданно всадил ему нож прямо в грудь, стоял он, тяжело дыша, со смертельно сжавшимся сердцем, с бледным, как воск, лицом, с онемевшими руками. Это было то же ужасное состояние, как тогда, только в несколько раз сильнее, опять что-то давящее внутри, чувство, что он должен посмотреть в глаза чему-то страшному, чему-то просто невыносимому. Но на этот раз облегчающие слезы не могли помочь вынести ужас. Святая Мадонна, что же это такое? Что же произошло? Его убили? Он убил? Что же такого страшного было сказано?

С трудом переводя дыхание, он как отравленный разрывался от желания освободиться от чего-то смертельного, что застряло глубоко внутри его. Двигаясь подобно плывущему, он бросился вон из комнаты, бессознательно бежал в самые тихие, самые безлюдные места монастыря, через переходы, по лестницам, на волю, на воздух. Он попал в самое укромное убежище монастыря, обходную галерею, над зелеными клумбами сияло ясное солнечное небо, сквозь прохладный воздух каменного подвала слегка пробивался сладкий аромат роз.

Сам того не подозревая, Нарцисс сделал в этот час то, что страстно желал сделать уже давно: он назвал по имени демона, которым был одержим его друг, он его определил. Какое-

то из его слов коснулось тайны в сердце Гольдмунда, и оно восстало в неистовой боли. Долго бродил Нарцисс по монастырю в поисках друга, но так и не нашел его.

Гольдмунд стоял под одной из круглых тяжелых арок, которые вели из переходов в садик, с каждой из колонн на него уставились по три головы животных, каменные головы собак или волков. Страшно ныла в нем рана, без выхода к свету, без выхода к разуму. Смертельный страх перехватил горло и живот. Машинально подняв взор, он увидел над собой одну из капителей колонны с тремя головами животных, и ему тотчас пришло в голову, что эти три дикие головы сидели, глазели, лаяли у него внутри.

«Сейчас я умру», – подумал он в ужасе. И сразу затем, дрожа от страха, почувствовал: «Сейчас я потеряю рассудок, сейчас меня сожрут эти звери». Затрепетав, он опустил у подножия колонны, боль была слишком велика, достигнув крайнего предела. Его охватила слабость, и он погрузился с опущенным лицом в желанное небытие.

У настоятеля Даниила выдался малоприятный день, двое старших монахов пришли к нему сегодня, возбужденно бранясь, полные упреков друг другу, опять вспомнили застарелые мелочные ссоры. Он их выслушивал слишком долго, увещевал, однако безуспешно, в конце концов отпустил, наложив довольно суровое наказание, но в душе осталось чувство, что действия его были бесполезны. Обессиленный, он уединился в капелле нижней церкви, молился, но, не получив облегчения, опять вы шел. И вот, привлеченный слабо льющим ароматом роз, он вышел на обходную галерею подышать немного воздухом. Тут он нашел ученика Гольдмунда, лежавшего без сознания на каменных плитах. С грустью глядел он на него, испугавшись мертвенной бледности его всегда такого красивого юного лица. Недобрый сегодня день, теперь еще и это! Он попытался поднять юношу, но ноша была не для него. Глубоко вздохнув, он пошел прочь, старый человек, чтобы позвать двух братьев помоложе отнести его наверх, послав туда же патера Ансельма, бывшего врачом. Одновременно он послал за Нарциссом, которого быстро нашли, и он явился к нему.

– Ты уже знаешь? – спросил он его.

– О Гольдмунде? Да, досточтимый отец, я только что слышал, что он заболел или пострадал от несчастного случая, его принесли.

– Да, я нашел его лежащим на обходной галерее, где ему, собственно, нечего было делать. Он пострадал не от несчастного случая, он был без сознания. Это мне не нравится. Мне кажется, ты должен быть причастен к делу или хотя бы что– то знать об этом, ведь он твой друг. Поэтому я позвал тебя. Говори.

Нарцисс, как всегда прекрасно владея собой и речью, коротко изложил свой сегодняшний разговор с Гольдмундом и как неожиданно сильно он на того подействовал. Настоятель недовольно покачал головой.

– Странные разговоры, – сказал он, принуждая себя к спокойствию. – То, что ты мне тут рассказал, похоже на разговор, который можно назвать вмешательством в чужую душу, я бы сказал, этот разговор душеспасительный. Но ведь ты не являешься духовником Гольдмунда. Ты вообще не духовник, ты даже еще не рукоположен. Как же получилось, что ты говорил с учеником в тоне советчика о вещах, которые касаются только духовника? Последствия, как видишь, печальные.

– Последствий, – сказал Нарцисс мягко, но определенно, – мы еще не знаем, досточтимый отец. Я был несколько напуган сильным действием, но не сомневаюсь, что последствия нашего разговора будут для Гольдмунда добрыми.

– Мы еще увидим последствия. Сейчас я говорю не о них, а о твоих действиях. Что побудило тебя вести такие разговоры с Гольдмундом?

– Как вы знаете, он мой друг. Я испытываю к нему особую склонность и думаю, что особенно хорошо понимаю его. Вы говорите, что я отнесся к нему как духовник. Но я ни в

коей мере не приписывал себе духовный авторитет, я только полагал, что знаю его лучше, чем он сам себя знает.

Настоятель пожал плечами.

– Я знаю, это твоя специальность. Будем надеяться, что ты не сделал этим ничего плохого. Разве Гольдмунд болен? Я имею в виду, болит у него что-нибудь? Он слаб? Плохо спит? Ничего не ест? Страдает от каких-нибудь болей?

– Нет, до сих пор он был здоров. Телом здоров.

– А в остальном?

– Душой он, во всяком случае, болен. Вы знаете, он в том возрасте, когда начинается борьба с половым инстинктом.

– Я знаю. Ему семнадцать?

– Ему восемнадцать.

– Восемнадцать. Ну да, достаточно много. Но ведь эта борьба естественна, каждый должен пройти через нее. Из-за этого ведь нельзя называть его больным душой.

– Нет, досточтимый отец, только из-за этого – нет. Но Гольдмунд был болен душой уже до этого, уже давно, поэтому эта борьба для него опаснее, чем для других. Он страдает, как я думаю, от того, что забыл часть своего прошлого.

– Вот как? Какую же это часть?

– Свою мать и все, что с ней связано. Я тоже ничего не знаю об этом, я только знаю, что там должен быть источник его болезни. Сам Гольдмунд как будто ничего не знает о своей матери, кроме того, что рано потерял ее. Но создается впечатление, что он стыдится ее. И все-таки именно от нее он унаследовал большинство своих дарований; то, что он рассказывает о своем отце, не дает представления о человеке, у которого такой красивый, одаренный и своеобразный сын. Я знаю все это не из рассказов, а заключаю из проявлений.

Настоятель, который поначалу слегка посмеивался про себя над этими не по годам умными и заносчивыми речами и для которого все дело было тягостным и щекотливым, задумался. Ему вспомнился отец Гольдмунда, несколько напыщенный и скрытный человек, теперь, поискав в памяти, он вдруг припомнил некоторые слова, в которых тот высказывался о матери Гольдмунда. Она опозорила его и убежала от него, сказал он, и он постарался подавить в сыне воспоминания о ней и некоторые унаследованные от нее пороки. Это ему весьма удалось, и мальчик намерен во искупление того, чего недоставало матери, посвятить свою жизнь Богу.

Никогда Нарцисс не был настоятелю столь мало приятен, как сегодня. И все-таки – как хорошо этот педант все разгадал, как хорошо, казалось, разбирается в деле Гольдмунда!

В заключение спрошенный еще раз о сегодняшних обстоятельствах Нарцисс сказал:

– Сильное потрясение, которое пережил сегодня Гольдмунд, не было вызвано мной умышленно. Я напомнил ему о том, что он не знает сам себя, что он забыл свое детство и мать. Какое-то из моих слов, должно быть, задело его и проникло в то темное, против чего я давно борюсь. Он был каким-то отсутствующим и смотрел на меня, как бы не узнавая ни меня, ни себя самого. Я часто говорил ему, что он спит, что он не бодрствует по-настоящему. Теперь он пробудился, в этом я не сомневаюсь.

Он был отпущен без наказания, но временно ему запрещалось посещать больного.

Между тем патер Ансельм распорядился положить бесчувственного на постель и сел возле него. Возвращать его в сознание сильными средствами казалось ему неразумным. Юноша выглядел слишком плохо. Благожелательно смотрел старик с морщинистым добрым лицом на юношу. Прежде всего он пощупал пульс и послушал сердце. Конечно, думал он, мальчуган съел что-то неудобоваримое, горсть кислицы или еще какой-нибудь дряни, дело известное. Язык он не мог посмотреть. Он любил Гольдмунда, но его друга, этого скороспелого слишком молодого учителя, терпеть не мог. И вот, нате вам. Определенно Нарцисс

виноват в этой глупой истории. Зачем нужно было связываться такому живому, ясноглазому мальчику, сыну природы, именно с этим высокомерным ученым, этим заносчивым грамотеем, для которого его греческий важнее всего живого в мире!

Когда долгое время спустя дверь открылась и вошел настоятель, патер все еще сидел, пристально смотря на лицо лежащего без сознания. Что за милое, юное, беззлобное лицо, и вот сидишь возле, хочешь помочь и не можешь. Конечно, причиной могли быть колики, он бы распорядился дать глинтвейну, может быть, ревеню. Но чем дольше он смотрел на бледное до зелени, искаженное лицо, тем более склонялся к другому подозрению, внушающему большие опасения. У патера Ансельма был опыт. Не раз за свою долгую жизнь он видал одержимых. Он медлил высказать свое глубокое подозрение даже самому себе. Лучше подождать и понаблюдать. Но, думал он мрачно, если бедный мальчик действительно одержим, то виновника не придется далеко искать, и ему не поздоровится.

Настоятель подошел ближе, посмотрел на больного, приподнял ему осторожно веко.

– Можно его разбудить? – спросил он.

– И хотел бы еще подождать. Сердце здорово. К нему нельзя никого пускать.

– Есть опасность?

– Думаю, что нет. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он без сознания, может быть, это колики. При очень сильной боли теряют сознание. Если бы было отравление, был бы жар. Нет, он придет в себя и будет жить.

– А не может ли это быть из-за душевного состояния?

– Не стану отрицать. Но ведь ничего не известно? Может быть, он сильно испугался? Известие о смерти? Серьезный спор, оскорбление? Тогда все было бы ясно.

– Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не пускали. Вас я прошу побыть с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже среди ночи.

Перед уходом старик еще раз наклонился над больным; он вспомнил о его отце и том дне, когда этот красивый милый белокурый мальчик прибыл к нему, и как все сразу полюбили его. И он с удовольствием смотрел на него. Но в одном Нарцисс был действительно прав: ни в чем этот мальчик не был похож на своего отца! Ах, сколько повсюду забот, как несовершенны все наши дела! Уж не упустил он чего в этом бедном мальчике? Разве это дело, что никто в монастыре не знал об этом ученике больше, чем Нарцисс? Мог ли тот ему помогать, когда сам еще был послушником, не был ни братом, ни рукоположенным, да и все мысли и взгляды его так непривычно высокомерны, даже почти враждебны? Бог знает, может быть, и с Нарциссом он давно ведет себя неправильно? Бог знает, не скрывает ли он за маской послушания дурное, может, он язычник? И за все, что когда-нибудь выйдет из этих молодых людей, за все он в ответе.

Когда Гольдмунд пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он понял, что лежит в постели, но не знал где, он и не думал об этом, ему было все равно. Но где он побывал? Откуда вернулся, из какой чужбины переживаний? Он был где-то, очень далеко отсюда, он что-то видел, что-то необычайное, что-то чудесное, и страшное, и незабываемое – и все-таки он его забыл. Где же это было? Что это там всплыло перед ним. такое большое, такое скорбное, такое блаженное, и опять исчезло?

Он вслушивался в глубину себя, в то, где сегодня что-то прорвалось и что-то произошло – что же это было? Беспорядочный рой образов навалился на него, он видел собачьи головы, три собачьих головы и вдыхал аромат роз. О как ему было тяжело! Он закрыл глаза. О как ужасно тяжело ему было! Он заснул опять. Снова проснулся и как раз в тот момент, когда мир сновидений ускользал от него, он увидел этот образ, он обрел его и вздрогнул как бы в мучительном наслаждении. Он увидел, он прозрел. Он видел Ее. Он видел Великую, Сияющую, с ярким цветущим ртом, блестящими волосами. Он видел свою мать. Одновре-

менно ему послышался голос: «Ты забыл свое детство» Чей же это голос? Он прислушался, подумал и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в один момент, внезапным толчком все сно ва вернулось: он вспомнил, он знал. О мать, мать! Горы ненужного, моря забвения были устранены, исчезли, огромными светло-голубыми глазами утраченная снова смотрела на него, несказанно любимая. Патер Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью, проснулся. Он услышал, что больной зашевелился, услышал его дыхание. Он осторожно поднялся.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил Гольдмунд. – Это я, не беспокойся. Я зажгу свет. Он зажег лампу, свет упал на его морщинистое, доброжелательное лицо.

– Разве я болен? – спросил юноша.

– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, послушаем-ка пульс. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Спасибо Вам, патер Ансельм, Вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.

– Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже готово! Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.

Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.

– Вот мы оба и поспали немного, – засмеялся врач. – Хорош санитар, скажешь ты, не мог пободрствовать. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего приятнее такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здоровье!

Гольдмунд засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он уже был однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить сладкое теплое вино со старым патером.

– Живот болит? – спросил старик.

– Нет.

– Я-то подумал, у тебя колики, Гольдмунд. Значит, нет. Покажи-ка язык. Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Правильно, оно должно хорошо подействовать на тебя. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. По полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Гольдмунд! Лежал там на галерее как труп. У тебя правда живот не болит?

Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал свои шуточки, и Гольдмунд благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.

Гольдмунд еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова вспыхивали слова друга, и еще раз явилась его душе белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О как же могло случиться, что он забыл ее!

Глава пятая

До сих пор Гольдмунд кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он о многом умалчивал в разговорах с Нарциссом. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Гольдмунда, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал уважаемой женщиной. А она, прожив несколько лет покорно и упорядоченно, опять вспомнила свои прежние занятия, оскорбляла нравственные чувства и совращала мужчин, днями и неделями не бывала дома, прослыла колдуньей и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая как хвост кометы и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспоконной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Гольдмунду, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.

Вот примерно то, что отец Гольдмунда имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это, на что намекал настоятелю, когда привез Гольдмунда; и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя он научился вытеснять ее и стал почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил действительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, состоявший не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов. Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им. И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла. "Непостижимо, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко, никогда не читил, не восхищался кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе и постепенно превратился в злую, бледную, безобразную ведьму, которой она стала для отца и для меня в течение многих лет.

Нарцисс недавно закончил свое послушничество и был пострижен в монахи. Станным образом переменилось его отношение к Гольдмунду. Гольдмунд же, ранее отклонявший предостережения друга, не принимая тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания, был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много из его слов оказалось пророчествами, как глубоко он проник в него, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!

Юноша и выглядел исцеленным. Не только от обморока не осталось дурных последствий; все надуманное, не по годам умное, неестественное в существе Гольдмунда как будто растаяло, его скороспелое решение стать монахом, обязательность посвятить себя служению Богу тоже. Юноша, казалось, одновременно стал моложе и старше с тех пор, как обрел себя. Всем этим он обязан был Нарциссу.

Нарцисс же относился к своему другу с некоторых пор со своеобразной осторожностью; очень скромно, без особых претензий, без превосходства и поучений смотрел он на его чрезмерное восхищение. Он видел, что Гольдмунд черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды. Он сумел способствовать их росту, но не участвовал в них. С радостью видел он, что друг освобождается от его руководства, и все-таки временами бывал печален. Он считал себя пройденной ступенью, сброшенной кожей; он видел, что близится конец их дружбы, которая для него была столь многим. Он все еще знал о Гольдмунде больше, чем тот сам о себе, потому что хотя Гольдмунд и обрел свою душу и

был готов следовать ее зову, но куда она его позовет, он еще не догадывался. Нарцисс же догадывался и был бессилён, путь его любимца вел в мир, куда сам он никогда не пойдет. Жажда знаний Гольдмунда стала намного меньше. Пропала и охота спорить с другом, со стыдом вспоминал он некоторые из их бывших бесед. Между тем у Нарцисса, вследствие окончания его послушничества или из-за переживаний, связанных с Гольдмундом, пробудилась потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, склонность к постам и долгим Молитвам, частым исповедям, добровольным покаяниям, и эту склонность Гольдмунд был в состоянии понять, даже почти разделить. Со времени выздоровления его инстинкт очень обострился, и если он совершенно ничего не знал о своих будущих целях, то с отчетливой и часто устрашающей ясностью чувствовал, что решается его судьба, что отныне некое щадящее время невинности и покоя прошло, и все в нем было в напряженной готовности. Нередко предчувствие было блаженным, полночи не давало спать подобно сладкой влюбленности; нередко же оно бывало темным и глубоко удручающим. Мать снова вернулась к нему, некогда утраченная, это было большое счастье. Но куда поведет ее манящий зов? К неопределенности, к нужде, может быть, к смерти. К покою, тишине, надежности, к монашеской келье и жизни в монастырской общине она не вела, ее зов не имел ничего общего с отцовскими заповедями, которые он так долго принимал за собственные желания. Этим чувством, которое часто бывало сильным, страшным и жгучим как горячее физическое чувство, питалась набожность Гольдмунда. Повторяя длинные молитвы к святой Мадонне, он освобождался от избытка чувства к собственной матери, однако нередко его молитвы опять заканчивались теми странными, великолепными мечтами, которые он теперь часто переживал: снами наяву, при наполовину бодрствующем сознании, мечтами о ней, в которых участвовали все чувства. Тогда материнский мир окружал его благоуханием, таинственно смотрел темными глазами любви, шумел как море и рай, ласково лепетал бессмысленные или скорее переполненные смыслом звуки, имел вкус сладкого и соленого, касался шелковыми волосами жаждущих губ и глаз. В матери было все, не только прелестное – милый голубой взгляд любви, чудесная, сияющая счастьем улыбка, в ней было и все ужасное и темное – все страсти, все страхи, все грехи, все беды, все рождения, все умирания.

Глубоко погружался юноша в эти мечты, эти многообразные сплетения одухотворенных чувств. В них поднималось вновь не только чарующее милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них таилось и грозное обещание, манящее и опасное будущее. Иногда эти мечтания, в которых мать, Мадонна и возлюбленная объединялись, казались ему потом ужасным преступлением и кощунством, смертным грехом, который никогда уже не искупить; в другой раз он находил в них спасение, совершенную гармонию. Полная тайн жизнь пристально смотрела на него, темный загадочный мир, застывший ошестинившийся лес, полный сказочных опасностей, – все это были тайны матери, исходили от нее, вели к ней, они были маленьким темным кругом, маленькой грозящей бездной в ее светлом взоре.

Многое из забытого детства всплывало в этих мечтаниях о матери: из бесконечных глубин и утрат расцветало множество маленьких цветов-воспоминаний, мило выглядывали, благоухали полные предчувствий, напоминая о детских чувствах, то ли переживаниях, то ли мечтах. Иногда ему грезилась рыба, черные и серебристые, они подплывали к нему, прохладные и гладкие, проплывали в него, через него, были как посланцы дивных вестей счастья из какой-то более прекрасной действительности, становились как тени, виляя хвостами, исчезали, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто виделись ему плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его созданием, зависела от него, и он управлял ими как своим дыханием, изучал их из себя как взгляд, как мысль, возвращал назад в себя. О саде грезил он часто, волшебном саде со сказочными деревьями, огромными цветами, глубокими темно-голубыми гротами; из травы сверкали глазами незнакомые животные, по вет-

вям скользили гладкие упругие змеи; лозы и кустарники были усыпаны огромными влажно блестящими ягодами, они наливались в его руке, когда он срывал их, и сочились теплым, как кровь, соком или имели глаза и поводили ими томно и лукаво; он прислонялся к дереву, хватался за сук и видел между стволом и суком комок спутанных волос, как под мышкой. Однажды он увидел во сне себя или своего святого, Гольдмунда Хризостому са, у него были золотые уста, и он говорил золотыми устами слова, и слова, как маленькие роящиеся птицы, вылетали порхающими стаями.

Однажды ему приснилось: он был взрослым, но сидел на земле как ребенок, перед ним лежала глина, и он лепил из нее фигуры: лошадку, быка, маленького мужчину, маленькую женщину. Ему нравилось лепить, и он делал животным и людям до смешного большие половые органы, во сне это казалось ему очень забавно. Устав от игры, он пошел было дальше, и вдруг почувствовал, что сзади что-то ожило, что-то огромное беззвучно приближалось, он оглянулся и с глубоким удивлением и страхом, хотя не без радости, увидел, что его маленькие фигурки стали большими и ожили. Огромные безмолвные великаны прошли мимо него, все увеличиваясь, молча шли они дальше в мир высокие, как башни.

В этом мире грез он жил больше, чем в действительности. Действительный мир: классная, монастырский двор, библиотека, спальная, и часовня – был лишь поверхностью, тонкой пульсирующей оболочкой над сверхреальным миром образов, полным грез. Самой малости было достаточно, чтобы пробить эту тонкую оболочку: какого-нибудь необычного звучания греческого слова во время обычного урока, волны аромата трав из сумки патера Ансельма, увлекающегося ботаникой, взгляда на завиток каменного листа, свешивающегося с колонны оконной арки, – этих малых побуждений хватало, чтобы за безмятежной действительностью без прикрас отверзлись ревущие бездны, потоки и млечные пути мира душевных образов. Латинский инициал становился благоухающим лицом матери, протяжные звуки Аве Мария – вратами рая, греческая буква – несущимся конем, приподнявшейся было змеей, спокойно скользившей меж цветов, и вот уже опять вместо них застывшая страница грамматики.

Редко говорил он об этом, лишь изредка намекал Нарциссу о существовании этого мира.

– Я думаю, – сказал он однажды, – что лепесток цветка или червяк на дороге говорит и содержит много больше, чем книги целой библиотеки. Буквами и словами ничего нельзя сказать. Иногда я пишу какую-нибудь греческую букву, фиту или омегу, поверну чуть-чуть перо, и вот буква уже виляет хвостом, как рыба, и в одну секунду напомнит о всех ручьях и потоках мира, о прохладе и влаге, об океане Гомера и о водах, по которым пытался идти Петр, или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, раздувается, смеясь, улетает. – Ну, как, Нарцисс, ты не очень-то высокого мнения о таких буквах? Но говорю тебе: так создавал мир Бог.

– Я высоко ставлю их, – сказал Нарцисс печально. – Это волшебные буквы, ими можно изгнать всех бесов. Правда, для занятий науками они не годятся. Дух любит твердое, оформленное, он хочет полагаться на свои знаки, он любит сущее, а не становящееся, действительное, а не возможное. Он не терпит, чтобы омега становилась змеей или птицей. В природе дух не может жить, только вопреки ей, только как ее противоположность. Теперь ты веришь мне, Гольдмунд, что никогда не будешь ученым?

О да, Гольдмунд поверил этому давно, он был с этим согласен.

– Я больше не одержим стремлением к вашему духу, – сказал он, почти смеясь. – С духом и с ученостью дело обстоит так же, как с моим отцом, мне казалось, что я очень люблю его и похож на него, я был сторонником всего, что он говорил. Но едва вернулась мать, я узнал, что такое любовь, и рядом с ее образом отец вдруг стал незначительным и безрадостным, почти неприятным. И теперь я склонен считать все духовное отцовским, не материнским, враждебным материнскому и менее достойным уважения.

Он говорил, шутя, но ему не удалось развеселить печального друга. Нарцисс молча взглянул на него, в его взгляде была ласка. Потом он сказал: «Я прекрасно понимаю тебя. Теперь нам нечего больше спорить; ты пробудился и теперь уже знаешь разницу между собой и мной, разницу между материнским и отцовским началом, между душой и духом. А скоро, по-видимому, узнаешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твоё стремление к монашеству были заблуждением, измышлением твоего отца, который хотел этим искупить память о матери, а может быть, всего лишь отомстить ей. Или ты все еще думаешь, что предназначен всю жизнь оставаться в монастыре?»

Задумчиво рассматривал Гольдмунд руки своего друга, эти благородные, строгие и вместе с тем нежные, худые белые руки. Никто бы не усомнился, что это руки аскета и ученого.

– Не знаю, – сказал он певучим, несколько неуверенным голосом, растягивающим каждый звук, который появился у него с некоторых пор. – Я в самом деле не знаю. Ты довольно строго судишь о моем отце. Ему ведь было нелегко. А может, ты и прав. Я уже три года как учусь, а он ни разу не навестил меня. Он надеется, что я навсегда останусь здесь. Может быть, это было бы лучше всего, я ведь и сам всегда этого хотел. Но теперь я не знаю, чего хочу. Раньше все было просто, просто, как буквы в учебнике. Теперь все не просто, даже буквы. Все стало многозначительно и многолико. Не знаю, что из меня выйдет, теперь я не могу думать об этих вещах.

– Ты и не должен. – сказал Нарцисс. – Время покажет, куда ведет твой путь. Начался он с того, что привел тебя обратно к матери и еще больше приблизит к ней. Что касается твоего отца, я не сужу его слишком строго. А хотел бы ты вернуться к нему?

– Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Ведь если я не буду ученым, то хватит с меня латыни, греческого и математики. Нет, к отцу я не хочу.

Он задумчиво смотрел перед собой и вдруг воскликнул «Но как это у тебя получается, ты все время говоришь мне слова и ставишь вопросы, которые прямо-таки пронзают меня и проясняют мне меня самого? Вот и теперь твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, фазу показал мне, что я не хочу этого. Как ты это делаешь? Кажется, что ты все знаешь. Ты говорил мне кое-что о себе и обо мне. поначалу я не очень-то и понимал это, а потом оно стало таким важным для меня! Ты первый определил материнское начало во мне, именно ты понял, что я был под чарами и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Нельзя ли и мне научиться этому?»

Нарцисс, улыбаясь, покачал головой.

– Нет, мой милый, тебе – нельзя. Есть люди, которые многому могут научиться, но ты не из их числа. Ты никогда не будешь учеником. Да и зачем? Тебе это не нужно. У тебя другие дарования. У тебя больше дарований, чем у меня. Ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет лучше и труднее, чем мой. Иногда ты не хотел меня понять, часто вставал на дыбы, как жеребенок, не всегда бывало легко, и часто я вынужден был делать тебе больно. Я должен был тебя пробудить, ты ведь спал. Даже мое напоминание тебе о матери поначалу причинило тебе боль, сильную боль, ты лежал как мертвый на галерее, когда тебя нашли. Но так должно было быть. Нет, не гладь мои волосы! Нет, оставь! Я этого не люблю.

– И учиться мне нечему? Я навсегда останусь глупым ребенком?

– Найдутся другие, у которых ты будешь учиться. С тем, чему ты мог научиться у меня, малыш, покончено.

– О нет, – воскликнул Гольдмунд, – мы не для этого стали друзьями! Что же это за дружба, если за короткое время, достигнув цели, прекращается! Разве я тебе надоел? Опротивел?

Нарцисс быстро ходил взад и вперед, смотря в землю, потом остановился перед другом.

– Оставь, – сказал он мягко, – ты прекрасно знаешь, что не противен мне.

С сомнением глядел он на друга, потом опять принялся ходить туда-сюда, еще раз остановился, с худого сурового лица на Гольдмунда смотрели твердые глаза. Тихим голосом, но твердо и сурово он сказал: «Слушай, Гольдмунд! Наша дружба была хорошей, у нее была цель, и она достигнута, ты пробудился Надеюсь, она не кончена, надеюсь, она возобновится и приведет к новым целям. На данный момент цели нет. Твоя – неопределенна, и я не могу ни вести тебя, ни сопровождать. Спроси свою мать, спроси ее образ, слушайся ее! Моя же цель определенной, она здесь, в монастыре, она требует меня каждый час. Я не смею быть твоим другом, но я не смею быть влюбленным. Я – монах, я дал обет. Перед посвящением я намерен получить отпуск от учительства и посвятить несколько недель посту и духовным упражнениям. В это время я не смогу говорить ни о чем мирском, и с тобой тоже».

Гольдмунд понял. Печально сказал он:

– Итак, ты будешь делать то, что делал бы и я, если бы вступил в орден. А когда закончишь подготовку, проведешь достаточно постов и молитв и бодрствований – что тогда станет твоей целью?

– Ты же знаешь, – сказал Нарцисс.

– Ну, да. Через несколько лет станешь первым учителем, возможно, даже управляющим школой. Будешь совершенствовать преподавание, увеличивать библиотеку. Может быть, сам станешь писать книги. Не так ли? Но в чем же будет цель?

Нарцисс слабо улыбнулся.

– Цель? Может, я умру управляющим школой или настоятелем или епископом. Все равно. Цель же – всегда быть там, где я смогу служить наилучшим образом, где мой характер, мои качества и дарования найдут наилучшую почву, наибольшее воздействие. Другой цели нет.

Гольдмунд:

– Никакой другой цели для монаха?

Нарцисс: "О, да, целей предостаточно. Жизненной целью для монаха может быть изучение древнееврейского, комментирование Аристотеля или роспись монастырской церкви, затворничество и медитирование или сотни других вещей. Для меня это не цели. Я не желаю ни умножать богатство монастыря, ни реформировать орден или церковь. Я желаю по мере моих сил служить духу, как я его понимаю. Разве это не цель? Долго обдумывал ответ Гольдмунд.

– Ты прав, – сказал он. – Я очень помешал тебе на пути к твоей цели?

– Помешал? О Гольдмунд, никто не помог мне больше, чем ты. У меня были трудности с тобой, но я не против трудностей. Я учусь на них, я их почти преодолел.

Гольдмунд перебил его, сказав полушутя:

– Ты их великолепно преодолел! Но скажи-ка, когда ты помогал мне, руководил мной и освобождал мою душу, ты действительно тем самым служил духу? А может, ты этим отнял у монастыря ревностного и добронравного послушника и воспитал противника духу, кого-то, кто будет стремиться и помышлять о противоположном тому, что ты считаешь добрым!

– Почему бы и нет? – ответил Нарцисс с глубокой серьезностью. – Мой друг, ты все еще плохо знаешь меня! Я, по-видимому, погубил в тебе монаха, зато я открыл тебе путь к необычной судьбе. Даже если ты завтра спалишь наш милый монастырь или объявишь какую-нибудь безумную ересь, я никогда не расскаюсь в том, что помог тебе встать на этот путь. – Он ласково положил обе руки другу на плечи.

– Видишь ли, маленький Гольдмунд, в мои цели входит также вот что: будь я учитель или настоятель, духовник или что угодно, я всегда хотел бы быть в состоянии, встретив сильного, одаренного и особенного человека, понять его, помочь ему раскрыться. И скажу

тебе: что бы ни вышло из тебя и меня, как бы ни сложилась наша судьба, когда бы ты ни позвал, нуждаясь во мне. я всегда отзовусь. Всегда!

Это звучало как прощание и действительно было приближением прощания. Стоя перед другом и смотря в его решительное лицо, целеустремленный взгляд, Гольдмунд окончательно понял, что теперь они больше не братья и товарищи, что пути их уже разошлись. Тот, кто стоял перед ним, не был мечтателем и не ждал каких-то зовов судьбы: он был монахом, отдал себя в распоряжение твердого порядка и долга, был слугой и солдатом ордена, церкви, духа. Сам же он, сегодня это стало ясно ему, не принадлежал к этому миру, он был без родины, его ждала неизвестность. То же самое было когда-то с его матерью. Она оставила дом и хозяйство, мужа и ребенка, общину и порядок, долг и честь и ушла в неизвестное, видимо, там давно и погибла. У нее не было цели, как и у него. Иметь цели, – это дано другим, не ему. О, как хорошо все это уже давно видел Нарцисс, как он был прав!

Вскоре после этого дня Нарцисс как бы исчез, он вдруг стал как бы невидим. Другой учитель вел его уроки, его место в библиотеке пустовало. Он еще был здесь, не полностью стал невидим, иногда можно было видеть, как он проходит по галерее, иногда слышать, как шепчет молитвы в одной из часовен, стоя на коленях на каменном полу; знали, что он начал готовиться к постригу, что он постится и по три раза в ночь встает читать молитвы. Он был еще здесь и все-таки перешел в другой мир; его можно было видеть, хотя и редко, но он был недостижим, с ним нельзя было ни общаться, ни говорить. Гольдмунд знал: Нарцисс появится опять, займет свое место в библиотеке, в трапезной, с ним снова можно будет поговорить – но прошлого не вернешь. Нарцисс никогда не будет принадлежать ему. И когда он думал об этом, он понял, что Нарцисс был единственным, из-за кого ему нравился монастырь и монашество, грамматика и логика, учеба и дух. Его пример манил его, быть как он, стало его идеалом. Правда, был еще настоятель, его он тоже почитал и любил и видел в нем образец высокого. Другие же: учителя, ученики, дортуар, трапезная, школа, уроки, службы, весь монастырь – без Нарцисса ему не было до них дела. Что же он еще делал здесь? Он ждал, он стоял под крышей монастыря, как останавливается в дождь нерешительный путник под какой-нибудь крышей или деревом, просто ждет как гость из страха перед суровой неизвестностью.

Жизнь Гольдмунда в это время была лишь промедлением и прощанием. Он посетил все места, которые были ему дороги или значимы для него. Со странным отчуждением заметил он, сколь мало людей и лиц было здесь, прощание с которыми было бы ему тяжело. Нарцисс да I старый настоятель Даниил, да еще добрый милый патер Ансельм, да, пожалуй, еще ласковый привратник и жизнерадостный сосед-мельник – но и они были уже почти I нерезальны. Труднее было прощаться с большой каменной мадонной в часовне, с апостолами на портале. Долго стоял он перед ними, а также перед прекрасной резьбой хоров, перед фонтаном в галерее, перед колоннами с тремя головами животных; простился с липами во дворе, с каштаном. Когда-нибудь все это станет воспоминанием, маленькой книжицей с картинками в его сердце. Даже теперь, когда он был среди них, они начинали ускользать от него, теряя свою действительность, превращаясь во что-то бывшее. С патером Ансельмом, который охотно брал его с собой, он ходил собирать травы, у мельника присматривал за работниками и время от времени принимал приглашение на выпивку с печеной рыбой: но все это было уже чужим и наполовину воспоминанием. Как его друг Нарцисс, попадавшийся иногда в сумраке церкви и исповедальни, стал для него тенью, так и все вокруг было лишено действительности, дышало осенью и преходящим.

Действительной и живой была только жизнь внутри, робкое биение сердца, болезненное жало мучительного ожидания, радости и страха его грез. Им он принадлежал, отдаваясь целиком. Во время чтения или занятий, в кругу товарищей он мог погрузиться в себя и все забыть, отдаваясь потокам и голосам внутри, увлекавшим его в глубины, полные темных

мелодий, в цветные бездны, полные сказочных переживаний, все звуки которых звучали как голос матери, тысячи глаз которых были глазами матери.

Глава шестая

Как-то патер Ансельм позвал Гольдмунда в свою аптеку, уютную, чудно пахнущую травами комнатку. Гольдмунд хорошо ориентировался здесь. Патер показал ему какое-то засушенное растение, лежавшее между чистыми листами бумаги, и спросил, знакомо ли ему это растение и может ли он точно описать, как оно выглядит в поле. Да, это Гольдмунд мог; растение называлось зверобой. Он точно описал все его приметы. Старый монах был доволен и дал своему юному другу задание набрать после обеда побольше этих растений, подсказав, где их лучше найти.

– За это ты будешь освобожден от послеобеденных занятий, мой милый, надеюсь, ты не против, впрочем, ты ничего не теряешь. Знание природы тоже наука, не только ваша дурацкая грамматика.

Гольдмунд поблагодарил за весьма приятное поручение собирать несколько часов цветы, вместо того чтобы сидеть в школе. Для полноты радости он попросил у шталмейстера коня Блесса и сразу после обеда вывел его из конюшни, бурно приветствуемый, вскочил на него и, очень довольный, пустился рысью в теплую сияющую даль. Часок-другой он скакал в свое удовольствие, наслаждаясь воздухом и благоуханием полей, а больше всего скачкой, потом вспомнил о задании и нашел одно из мест, описанных патером. Тут он привязал лошадь под тенистым кленом, поболтал с ней, дав хлеба, и отправился на поиски цветов. Перед ним лежало несколько наделов невозделанной пашни, бурно заросших всякого рода сорной травой, мелкие жалкие маки с последними бледными цветами и уже зрелыми семенными коробочками поднимались среди засохшей повилики и небесно-голубых цветов цикория и поблекшей гречихи, несколько сброшенных в кучу камней, разделявших поля, были заселены ящерицами, а вот, наконец, и первые кустики зверобоя, и Гольдмунд принялся собирать их. Собрав изрядную охапку, он присел на камни отдохнуть. Было жарко, и он вожделенно поглядывал на густую сень далекой лесной опушки, но так далеко ему не хотелось уходить от лошади, которую отсюда еще было видно. Он остался сидеть на теплых булыжниках, притаившись, чтобы выманить обратно спрятавшихся было ящериц, нюхал зверобой, держа его маленькие кисточки на свет, чтобы разглядеть сотни крохотных проколов иголочек.

Удивительно, думал он, на каждом из тысячи маленьких лепесточков выколото крохотное звездное небо, тонко, как шитье. Удивительно и непостижимо, впрочем, все: ящерицы, растения, даже камни, вообще все. Патер Ансельм, который так любит его, уже не может сам собирать зверобой, с ногами плохо, а в некоторые дни он и совсем не двигается, и собственное врачевание не помогает.

Возможно, он скоро умрет, а травы в комнатке будут продолжать благоухать, хотя старого патера уже не будет в живых. А может быть, он проживет еще долго, лет десять или двадцать, и у него будут все такие же белые редкие волосы и те же веселые лучики морщин возле глаз; а сам он, Гольдмунд, что будет с ним через двадцать лет? Ах, все было непонятно и, собственно, печально, хотя и прекрасно. Ничего не известно. Вот живешь и бродишь по земле или скачешь по лесам, и что-то смотрит на тебя так требовательно и обещающе, пробуждая тоску ожидания: вечерняя звезда, голубой колокольчик, заросшее зеленым тростником озеро, взгляд человека или коровы, а иногда кажется, вот сейчас произойдет что-то невиданное, но давно чаемое, со всего упадет завеса; но время идет, и ничего не происходит, и загадка не решена, и тайные чары не развеяны, и вот, наконец, приходит старость, немощь, как у патера Ансельма, или мудрость, как у настоятеля Даниила, а все еще ничего не знаешь, но ждешь и прислушиваешься.

Он поднял пустую раковину улитки, совсем теплую от солнца. Погруженный в размышления, он рассматривал витки раковины, спираль с насечками, изобретательно уменьшавшуюся к концу, пустой зев, блестящий перламутром. Он закрыл глаза, чтобы почувствовать форму чуткими пальцами, это была его старая привычка и игра. Вращая раковину легкими пальцами, он ласково поглаживал ее без нажима, поражаясь чуду формы, волшебству телесного. Вот в чем, думал он мечтательно, был один из недостатков школы и учености: видеть и представлять все так, как будто оно плоское и имеет лишь два измерения. В этом, казалось ему, заключается ущербная неполноценность рассудочного подхода, но он был уже не в состоянии удержать мысль, раковина выскользнула из его пальцев, он почувствовал себя усталым и сонным. Приклонив голову на свои травы, которые, увядая, пахли все сильнее и сильнее, он заснул на солнце. По его башмакам бегали ящерицы, под головой увядали травы, под кленом с нетерпением ждал Блесс.

От далекого леса кто-то приближался к нему, молодая женщина в выцветшей голубой юбке, повязанная красным платком поверх черных волос, с загорелым на летнем солнце лицом. Женщина подошла ближе, держа в руках узелок и маленькую красную гвоздику во рту. Она увидела сидящего Гольдмунда, долго разглядывала его издали с любопытством и недоверчиво, заметив, что он спит, она подошла ближе, осторожно ступая босыми загорелыми ногами, остановилась прямо перед Гольдмундом и посмотрела на него. Ее недоверчивость исчезла, красивый спящий юноша выглядел не опасным, но очень понравился ей – как он попал сюда, на брошенные поля? Он собирал цветы, заметила она с улыбкой, они уже завяли.

Гольдмунд открыл глаза, возвращаясь из дебрей сна. Его голова лежала на мягком, на коленях женщины, в его заспанные удивленные глаза смотрели чужие карие глаза, близко и тепло. Он не испугался, опасности не было, теплые карие звезды светились приветливо. Вот женщина улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд, улыбнулась очень приветливо, и он тоже стал медленно улыбаться. На его улыбающиеся губы опустился ее рот, они поздоровались этим нежным поцелуем, при котором Гольдмунду сразу же вспомнился тот вечер в деревне и маленькая девушка с косами. Но поцелуй был еще не кончен. Рот женщины задержался на его губах, продолжая игру, дразнил и манил, схватил их, наконец, с силой и жадностью, волнуя кровь и будоража до самой глубины, и в долгой молчаливой игре, едва заметно наставляя женщина отдавалась мальчику, позволяя искать и находить, воспаляя его и утоляя пыл. Дивное короткое блаженство любви охватило его, вспыхнуло золотым пламенем, пошло на убыль и погасло. Он лежал с закрытыми глазами на груди женщины. Не было сказано ни слова. Женщина лежала тихо, нежно глядя его волосы, позволяя медленно прийти в себя. Наконец он открыл глаза.

– Ты. – Проговорил он. – Ты! Кто же ты?

– Я – Лизе. – Ответила она.

– Лизе, – повторил он, как бы смакуя имя. – Лизе, ты – прелесть.

Она прошептала ему в самое ухо: «У тебя это было в первый раз? Ты никого еще не любил до меня?»

Он покачал головой. Потом быстро встал и посмотрел вокруг, на поле, на небо.

– О! – воскликнул он. – Солнце-то уже совсем село. Мне надо обратно.

– Куда же это?

– В монастырь, к патеру Ансельму.

– В Мариабронн? Ты там живешь? А не хочешь еще побыть со мной?

– Очень хочу.

– Так останься!

– Нет, нельзя. Мне надо еще набрать травы.

– Разве ты в монастыре?

– Да, я учусь. Но я не останусь там. Можно мне будет прийти к тебе, Лизе? Где ты живешь, где твой дом?

– Я нигде не живу, дорогой. Но скажи мне твое имя. Так тебя зовут Гольдмунд? Поцелуй меня еще раз, Гольдмунд, тогда можешь идти.

– Ты нигде не живешь? Где же ты спишь?

– Если захочешь, с тобой в лесу или на сеновале. Придешь сегодня ночью?

– О, да. Куда? Где мне найти тебя?

– Умеешь кричать как сыч?

– Никогда не пробовал.

– Попробуй.

Он попробовал. Она засмеялась и осталась довольна.

– Тогда выходи ночью из монастыря и покричи, я буду поблизости. Я все еще нравлюсь тебе, Гольдмунд, дитяtko мое?

– Ах, ты мне очень нравишься, Лизе. Я приду. Храни тебя Бог, а теперь я должен спешить.

На взмыленном коне в сумерки Гольдмунд вернулся в монастырь и был рад, что патер Ансельм очень занят. Купаясь, кто-то из братьев проколол ногу.

Теперь нужно было разыскать Нарцисса. Он спросил у одного из прислуживающих братьев в трапезной о нем. Нет, Нарцисс не придет на вечернюю трапезу, у него пост, и сейчас он, по-видимому, спит, потому что по ночам прислуживает на всенощной. Гольдмунд бросился туда, где спал его друг во время подготовки к постригу. Это была одна из келий для кающихся во внутреннем монастыре. Не раздумывая, он вбежал внутрь, прислушался у двери, ничего не было слышно. Он тихо вошел. То, что это было строго запрещено, сейчас не имело значения. На узкой постели лежал Нарцисс, в сумерках он был похож на мертвого, настолько неподвижно лежал он на спине с бледным заострившимся лицом, скрестив руки на груди. Но глаза его были открыты, он не спал. Молча посмотрел он на Гольдмунда, без упрека, но и не шевельнувшись, настолько явно отрешенный, настолько в ином времени и ином мире, что ему стоило труда узнать друга и понять его слова.

– Нарцисс! Прости, прости, милый, что я мешаю тебе, это не шутка. Я знаю, что ты сейчас не смеешь со мной говорить, но сделай это, очень прошу тебя.

– Это необходимо? – спросил он угасшим голосом.

– Да, это необходимо. Я пришел попроситься с тобой.

– Тогда это необходимо. Ты не пришел бы зря. Проходи, сядь ко мне. Четверть часа есть до начала первого бдения.

Он поднялся и сел на голой постели, Гольдмунд сел рядом.

– Только прости! – сказал он, чувствуя себя виноватым. Келья, голая постель, невыспавшееся, переутомленное лицо Нарцисса, его наполовину отсутствующий взгляд – все свидетельствовало о том, что он здесь лишний.

– Не стоит извинений. Не беспокойся обо мне, я здоров. Ты говоришь, что хочешь попроситься? Ты уходишь?

– Я уйду сегодня же. Ах, не могу тебе рассказать! Все вдруг решилось!

– Твой отец приехал, или ты получил известие от него?

– Нет, ничего. Сама жизнь пришла ко мне. Я уйду, без отца, без разрешения. Я опозорю тебя, друг, я убегу.

Нарцисс посмотрел на свои длинные белые пальцы, тонкие, как у призрака, они едва виднелись из рукавов рясы. Не на строгом, смертельно усталом его лице, но в голосе послышалась улыбка, когда он сказал:

– У нас очень мало времени, милый. Скажи только необходимое коротко и ясно. Или, может быть, мне сказать, что с тобой произошло?

– Скажи.

– Ты влюбился, милый мальчик, ты познал женщину.

– Как это ты опять все узнал?

– Глядя на тебя, это нетрудно. Твое состояние, дружок, имеет все признаки того вида опьянения, который называется влюбленностью. Ну, так продолжай, пожалуйста.

Гольдмунд робко положил руку на плечо друга.

– Ты уже сказал. Но на этот раз нехорошо сказал, Нарцисс, неправильно. Это было совсем иначе. Я был далеко в полях и заснул на жаре, а когда проснулся, моя голова лежала на коленях прекрасной женщины, и я сразу почувствовал, что вот пришла моя мать, чтобы взять меня к себе. Не то чтобы я принял эту женщину за свою мать, нет, у этой темные карие глаза, черные волосы, а моя мать была белокурая, как я, она выглядела совсем иначе. И все-таки это была она, ее зов, это была весть от нее. Как будто из грез моего собственного сердца явилась вдруг прекрасная чужая женщина, она держала мою голову у себя на коленях и улыбалась мне, как цветок, и была мила со мной, при первом же поцелуе я почувствовал, как будто что-то тает во мне и причиняет сладкую боль. Вся тоска, какую я когда-либо чувствовал, все мечты, сладостное ожидание, все тайны, спавшие во мне, проснулись, все преобразилось, лишилось чар, все получило смысл. Она показала мне, что такое женщина с ее тайной. За полчаса она сделала меня старше на несколько лет. Я теперь многое знаю. Я узнал также совсем неожиданно, что не должен оставаться здесь ни одного дня. Я уйду, как только настанет ночь. Нарцисс слушал и кивал.

– Это случилось неожиданно, – сказал он, – но это примерно то, что я ожидал. Я буду много думать о тебе. Мне будет; тебя не доставать, друг. Могу я что-нибудь сделать для тебя?

– Если можно, скажи нашему настоятелю, чтобы он не проклял меня окончательно. Он единственный в монастыре, кроме тебя, чья память обо мне для меня безразлична. Его и твоя.

– Я знаю... Может, у тебя есть еще просьбы?

– Да, одна просьба. Когда будешь вспоминать меня, помолись обо мне! И... спасибо тебе.

– За что, Гольдмунд?

– За твою дружбу, за твоё терпение, за все. И за то, что ты сейчас выслушал меня, хотя это очень трудно для тебя. И за то, что ты не пытался удержать меня.

– С какой стати мне бы пришлось в голову удерживать тебя? Ты же знаешь, что я думаю по этому поводу. Но куда же ты пойдешь, Гольдмунд? У тебя есть цель? Ты идешь к той женщине?

– Я иду с ней, да. Цели у меня нет. Она не здешняя, бездомная, как будто цыганка.

– Ну хорошо. Но скажи, мой милый, ты знаешь, что твой путь с ней может оказаться очень коротким? Тебе не следует, по-моему, особенно полагаться на нее. Ведь у нее могут быть родственники, может, муж, кто знает, как там примут тебя.

Гольдмунд прильнул к другу.

– Я это знаю, – сказал он, – хотя пока еще не думал об этом. Я уже сказал тебе: у меня нет цели. И эта женщина, что была так мила со мной, тоже не моя цель. Я иду к ней, но не ради нее. Я иду, потому что должен, потому что слышу зов.

Он замолчал и вздохнул, они сидели, прислонившись друг к другу, печальные и все-таки счастливые чувством своей нерушимой дружбы. Затем Гольдмунд продолжал:

– Ты не думай, что я совсем слепой и наивный. Нет, я иду охотно, потому что чувствую, что так нужно, и потому что сегодня пережил нечто такое прекрасное! Но я не считаю, что меня ждет сплошное счастье и удовольствие. Я знаю, мой путь будет трудным. И все-таки надеюсь, он будет и прекрасным. Это так дивно принадлежать женщине, отдаваться ей! Не смейся надо мной, если это звучит глупо, что я говорю. Но видишь ли, любить женщину,

отдаваться ей, чувствовать, что она совершенно погружена в себя, а ты в нее, это не то же самое, что ты называешь любовью и немного высмеиваешь. Здесь нет ничего смешного! Для меня это путь к жизни и к смыслу жизни. Ах, Нарцисс, я должен тебя покинуть. Я люблю тебя, Нарцисс, и спасибо тебе, что пожертвовал для меня сном. Мне тяжело уходить от тебя. Ты меня не забудешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.